



КЭРОЛАЙН ЛИ
СТАЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ

Annotation

После победы союзников в Северной Африке тысяча итальянских солдат были отправлены на отдаленный остров у шотландского побережья. Жители острова после трех лет постоянной угрозы вторжения опасаются пленных, они видят в итальянцах кровожадных врагов. Но для двух сестер, Дороти и Констанс, это лишь изможденные бедолаги, больные и раненые, не привыкшие к холодам оркнейской зимы. Девушки помогают пленным чем могут. После смерти родителей сестры полагались лишь друг на друга, но после появления в деревне итальянских солдат их близость оказывается под угрозой... И одним роковым вечером придется сделать выбор, который будет иметь разрушительные последствия.

- [Кэролайн Ли](#)
 -
 - [От автора](#)
 - [Пролог](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Октябрь 1941](#)
 - [Начало января 1942](#)
 - [Середина января 1942](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Середина января 1942](#)
 - [Конец января 1942](#)
 - [Конец января 1942](#)
 - [Февраль 1942](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Февраль 1942](#)
 - [Март 1942](#)
 - [Март 1942](#)
 - [Часть четвертая](#)
 - [Апрель 1942](#)
 - [Май 1942](#)
 - [Август 1942](#)

- [Конец августа – начало сентября 1942](#)
 - [Часть пятая](#)
 - [Сентябрь 1942](#)
 - [Послесловие автора](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
-

Кэролайн Ли

Стальное сердце

Разинет пасть Морской Змей – и содрогнется земля, и хлынет на поля вода из моря. Был он такой длинный, что обвивался вокруг земли кольцом. Дохнёт он ядовитым смрадом – и гибнет все живое окрест. Как услышат люди его имя – бледнеют и крестятся, ибо был он худшим из девяти бедствий, что обрушились на род людской.

«Ассипатл и Морской Змей», оркнейская легенда

The Metal Heart by Caroline Lea

Copyright © 2021 by Caroline Lea

Роман «Стальное сердце» впервые опубликован в 2021 году издательством Michael Joseph, подразделением Penguin Books Limited. Penguin Books Limited является частью группы компаний Penguin Random House

Книга издана при содействии Литературного агентства Эндрю Нюрнберга

© Марина Извекова, перевод, 2022

© «Фантом Пресс», издание, 2023

От автора

Дорогие читатели!

В основу романа легли реальные события, в том числе строительство Итальянской часовни на Оркнейских островах во время Второй мировой войны, но прежде всего это художественное произведение. В частности, имена действующих лиц вымышлены, а названия мест и датировка некоторых событий изменены.

В книге я хотела высказаться от лица людей, втянутых в войну, одержимых любовью, меняющихся под гнетом неодолимых обстоятельств.

Работать над романом мне пришлось в разгар пандемии, во время локдауна, и мир сжимался на моих глазах; люди, запертые в четырех стенах, все же находили возможность поддержать друг друга, помочь, проявить доброту и любовь, пусть даже в мелочах. И в очередной раз я задумалась о том, как мы справляемся с трудностями, как создаем прекрасное, выражаем себя в искусстве, и о местах, где мы обретаем любовь и свет.

Спасибо вам за то, что читаете эту книгу. Приятного чтения!

Пролог

Сестры

Шелки-Холм, Оркнейские острова

Ноябрь 1942

Из всех смертей, наверное, самая легкая – смерть от воды. Ты в темном чреве океана, все звуки приглушены. Утонуть – значит вернуться к началу, до того, как разрезали пуповину. Наша бы воля, такую смерть мы предпочли бы для себя.

Такой смерти мы пожелали бы и другим – тем, кого хоть сколько-нибудь любим.

Морская вода обжигает холодом, заливаясь в ноздри всякий раз, когда выныриваешь. Мы снова ныряем, пытаюсь высвободить ногу. Волны бьются о барьер, в глазах пелена. Держась друг за друга и отчаянно бултыхая ногами, чтобы не удариться о камни, мы смотрим, как болтается на волнах бледный утопленник. А выше, над морем, бушует буря, и на берегу люди гасят огни, отгораживаясь от ливня, и от вражеских самолетов, и от незримых чудищ. Здесь верят, что это ярится Морской Змей.

Волны подбрасывают безжизненное тело. У нас обеих жжет в груди. Только что он царапался, хватал нас за руки. Последний отчаянный рывок, последний захлебывающийся крик. И вот он затих – глаза открыты, как у живого, и кажется, он дышит в одном ритме с морем, словно некое мифическое чудовище.

Всхлипывая, держась друг за дружку, выбираемся из воды. Пытаемся вытащить его на берег, отцепив от скал одежду. Снова и снова ныряем. Легкие распирает от боли, мышцы сводит судорогой, руки немеют, не в силах удержать скользкое тело.

Наконец удастся его высвободить.

Затаскиваем тело на барьер, который строили военнопленные. На наших глазах они укладывали камни, протягивали колючую проволоку – уродовали наш остров, нарушая порядок жизни.

Даже до войны, когда еще не было здесь ни орудий, ни охраны, ни железных бараков с военнопленными, об Оркнейских островах шла дурная слава. У нас, северян, особые представления о мире; здесь живут по своим законам – древним, простым, суровым. Это край света, все здесь шатко и ненадежно. Когда-то Оркнейские острова были на карте белым пятном, *terra incognita*, будто привиделись во сне пьяному матросу, выплыли из тумана и вновь исчезли, едва он успел обвести пальцем их контуры на мглистом горизонте.

Здесь, на островах, есть сотни заброшенных могил, где можно спрятать тело, – глубокие ямы, заваленные землей и булыжниками, а вокруг смотрящие в небо зубцы скал, – но все это слишком далеко. Мы тащим труп к карьере – там и ветра нет, и достаточно камней для похоронного обряда.

Вокруг темнеют каменные своды; ветер треплет волосы, выдувает слезы из глаз. Мокрыми, онемевшими руками роемся мы в завалах и, отыскав наконец семь камней подходящего размера, кладем их на труп согласно обряду. Один – на лоб, чтобы укротить беспокойные мысли; другой – на грудь, остановить биение сердца; по одному – в ладони и на ноги, чтобы положить конец всякому движению, и последний – в рот, чтобы прервать дыхание. Иначе душа умершего не найдет покоя, будет маяться и терзать живых. Мы произносим заклинание:

*И кровь, и кость, и дух, и плоть
Холодный камень заберет.*

Наконец достаем стальное сердце и кладем мертвецу на грудь, туда, где совсем недавно билось сердце живое. И отворачиваемся, не в силах прижаться губами к холодному лбу, коснуться ледяной плоти.

Вот и все. Это и есть прощание.

Сидя на жесткой земле подле коченеющего тела, мы переживаем бурю.

Скоро нас найдут, и солнца нам больше не видать. Нас повесят без лишнего шума, в темном подвале, где вздергивали когда-то

контрабандистов и браконьеров. А может, мы еще увидим напоследок солнце, когда нас выведут на заре в чистое поле – и там завяжут глаза и пустят пулю в лоб.

Редеют облака, сквозь них видны меркнущие звезды – островитянам, что прячутся сейчас за плотными шторами или спят, не прочесть на небе знамений и предначертаний. Когда-то в такие ночи на порог сыпали соль, чтобы отогнать прочь морских духов. Сейчас земля изуродована воронками от бомб, стонет под колючей проволокой, пахнет пеплом костров и порохом с карьера. В эти темные дома не достучаться, все двери заперты.

Мы ждем.

– Сколько еще, по-твоему?

Мы судорожно вздыхаем. Теперь уже все равно – дни, недели, годы лежат впереди белым пятном. Будет тускло мерцать ночами море, будут новые и новые рассветы. Но уже без нас.

Первый луч рассвета касается моря, выхватывая из мрака остовы кораблей, лежащих здесь с Первой мировой. Мы подплывали к ним когда-то и находили там бомбы и скелеты. Во время отлива черепа клацают челюстями, будто пытаются что-то сказать.

И вот кто-то шагает по барьеру – мистер Кэмерон, штаны у него подвязаны веревкой, лицо землистое, он сухо покашливает на ходу.

Не дойдя до нас десяти шагов, он замечает тело.

– Боже! Что вы... Боже!

Он бледнеет и, спотыкаясь, бредет обратно, но не в сторону Керкуолла, а к лагерю – к ограждению из колючей проволоки, к баракам из листового железа.

Самое время бежать.

Но мы сидим неподвижно.

От земли поднимается холод, пробирает до костей, приковывает к месту.

Здесь и останемся.

Мы крепко держимся за руки, словно пытаемся слиться воедино. Вернуться в прошлое, в довоенное время, когда мы еще не знали ни любви, ни утрат, ни ревности.

Мы дышим в едином ритме, двести вдохов на двоих, и вот к нам спешат – но не полиция, а лагерный охранник, в черных башмаках и

выглаженной темно-зеленой форме, цвет немаркий, ни грязи, ни крови на нем не видно.

Обернувшись, мы смотрим ему в лицо и поднимаем руки – бледная до синевы кожа на запястьях у нас одинаковая, даже нам самим не отличить.

И говорим в один голос:

– Это не она. Это я. Я его убила.

Часть первая

*В пятницу я подобрал череп моряка,
Из него посыпался песок —
Точь-в-точь кладбищенские песочные часы.*

Джордж Маккей Браун, «Бродяга на пляже»

Октябрь 1941

Полночь. Небо чистое, с россыпью звезд, посеребренное молодой луной. Сегодня самолеты над островами не кружили, уже больше года не было бомбежек. Блестят стволы орудий, вздернутые в небо. Утесы, словно вырезанные из бумаги, бросают зловещие тени на гладь залива. В темноте все кажется плоским, будто море вокруг Оркнейских островов – декорация и вот-вот начнется спектакль.

Меж скал в заливе Скапа-Флоу скользит немецкая подлодка. Одна, на невыполнимом боевом задании.

Командира Прина называли безумцем – он, мол, рискует экипажем, судном, жизнью. Его подчиненные отрывисто переговариваются, достают фотокарточки жен, детей, подруг.

Один шепчет: «*Vater unser in Himmel...*» – «Отче наш...»

Снаружи вздымается, будто вздыхает, вода; море в преддверье холодное, очутишься в воде – и сразу дух вон. А здесь, на борту подлодки, безопасно. Она несла их по враждебным водам, мимо айсбергов и морских чудовищ. Плавающий дом, уютный, согретый их дыханием и смехом.

Субмарина скользит мимо затонувших кораблей, похожих на обглоданные скелеты. Стальной лабиринт, где всюду поджидают ловушки. Штурман различает впереди темные громады древних скал. Под водой, во тьме, все одинаково: что своя земля, что чужая – не отличишь. Но штурман знает эту местность, маршрут, эти затерянные острова.

Оркни.

А в вышине, побеленные луной, парят, словно призраки, гигантские британские корабли. Люди на этих кораблях ничего не подозревают, спят и во сне видят дом. Иллюминаторы открыты. Никто не ожидает удара.

Но о людях лучше не думать. Лучше сосредоточиться на орудиях, на том, как зарядить торпеды и навести их на самый большой корабль в доке – линкор британского флота «Ройял Оук». Он висит над ними в воде, покачиваясь на волнах, как раздутый труп.

Оркнейцы спят чутко, готовые проснуться от гула бомбардировщиков; час еще не очень поздний, едва перевалило за полночь. Говорят, немцы построили новый самолет, совершенно бесшумный, и будут испытывать над Оркнейскими островами. Говорят, победа Германии – дело решенное.

– Тсс, – шепчут матери, когда дети пересказывают ужасы, услышанные на школьном дворе.

– Мамочка, немцы с нас кожу сдерут!

– Нет здесь никаких немцев. – Но, подтыкая одеяла и целуя детей в лоб, матери хмурятся и поправляют шторы на окнах, чтобы ни один луч света не пробился наружу, не привлек пролетающие мимо самолеты.

Островов здесь много, от одних до других рукой подать, можно вплавь перебраться на соседний или переругиваться, стоя по разные стороны пролива. Тут никакой секрет не спрячешь, разве что под землей или в морской пучине.

Народ здесь угрюмый, нелюдимый, с суровыми лицами и одним на всех сердцем. Выживают они сообща, все тяготы преодолевают вместе – бури, штормы, неурожай. Все здесь друг друга знают по имени, знают, у чьего ребенка режутся зубки, а чьих сорванцов не мешало бы отшлепать как следует, поучить хорошим манерам. Знают, кто расстался с женихом или невестой, кто захворал, и средство от всех напастей здесь одно – оставляют на крыльце буханку хлеба, словно в знак веры, что все разрешится.

Жители каждого острова зовутся по-своему: люди с острова Флотта – камбалы, а те, кто родом с острова Хой, – ястребы. Жителей Саут-Роналдсей зовут ведьмаками. Ничего зловещего тут нет, это повелось издавна, и никто не спрашивает почему.

Один из островков поменьше – Шелки-Холм, он назван так потому, что в здешних водах будто бы живут диковинные существа – шелки, полуженщины-полутюлени. В последние сто с лишним лет остров был необитаем. Единственное строение – ветхая пастушья хижина, торчит на пригорке, словно гнилой зуб. Ни одна живая душа туда не заглядывала, разве что овцы, пока несколько месяцев назад там не поселились двойняшки Рид.

В проливе Скапа-Флоу, между островами Шелки-Холм и Мейнленд, еще в Первую мировую была морская база. Никто не рад

возвращению сюда кораблей, но что поделать? Английские матросы сходят на берег, буянят. Еды на всех не напасешься, по крохотному Керкуоллу разгуливают толпы парней – пива напьются, потом свистят вслед девчонкам. Не далее как на прошлой неделе матрос схватил девушку, полез целоваться. Та завизжала да как даст ему по макушке. Потом прошел слух, будто местные собираются штурмовать один из кораблей, проучить матросов. До дела так и не дошло – пошумели старики да юнцы плоскостопые и угомонились, – но терпение у всех как натянутый канат, готовый лопнуть.

Почти все молодые оркнейцы ушли на фронт. На острове остались старики, женщины и дети, а из мужчин помоложе только те, кого в армию не взяли. Тем, кто остался, тревожно и муторно, все жмутся друг к другу, держатся вместе перед лицом войны, как перед грозой.

В Керкуолле, в теплом пабе, за столом сидят пятеро. Час назад все должны были разойтись, а паб закрыться, но они щедро заплатили хозяину, тот запер двери и теперь сам подает им пиво. При свете одной-единственной свечи они играют в карты и делятся друг с другом историями. Запоздалый прохожий вряд ли заметит огонек в окне паба.

Карта за картой, байка за байкой: берега острова Хой заволокло туманом, и один рыбак, увидав в дымке чьи-то тени, подумал, что шелки, подплыл ближе, и лодка его налетела на скалу.

– Пришлось ему вплавь до берега добираться. Всю ночь на утесе куковал.

Все хохочут, но придвигаются поближе к огоньку.

И тут Нил Макленни, оглянувшись через плечо, говорит, что видел кое-что другое, непонятное, вот сейчас, по дороге в паб. Безлунное небо полыхнуло северным сиянием, а в заливе, под водой, у самой поверхности, что-то пронеслось.

– Темное, вроде большого зверя, – шепчет он, подавшись вперед.

Но Макленни, с сизым носом пьянчуги и красными глазами, легковерный дурачок, даже когда трезвый, – и приятели, похлопав по плечу, снова его угощают.

И все же история их отрезвляет, разговоры смолкают. Все чувствуют: что-то должно случиться. Наскоро простившись, они выходят из паба на холод и спешат вдоль берега по домам, едва отваживаясь взглянуть

на море. Запыхавшись, вбегают в дома и бросаются наверх, убедиться, что жены и дети живы-здоровы; жены ворчат спросонок, а услышав байку Макленни, закатывают глаза. Мужья смотрят на спящих детей, тихонько посмеиваясь над собственной глупостью, и все равно приглушают свет, проверяют, надежно ли закрыты окна.

А после полуночи, когда на судах в заливе все спят, а на берегу нет ни души, из воды высовывается перископ немецкой подлодки – совсем ненадолго, но за это время экипаж Прина успевает зарядить четыре торпеды и выпустить в цель.

Дороти

Яркая вспышка вырывает меня из сна.

Несколько часов я ворочалась, всматривалась во мглу, мечтая скорей забыться, но стоило закрыть глаза, и я принималась считать: овсянки у нас осталось на две недели, а масла всего на одну. Мяса хватит дней на десять, если будем экономить. Но многие продукты можно достать только в Керкуолле, а стоит завести речь о том, чтобы снова туда отправиться, Кон дрожит от страха, и я вместе с ней.

Вчера мы с Кон плавали на веслах с Шелки-Холма в Керкуолл за материалами для ремонта нашего нового жилища – ветхой пастушьей хижины. Дверь вот-вот слетит с петель, а балки прогнили, нужны доски. И шифер для крыши: летом спать под звездами еще куда ни шло, а зимой замерзнем.

В войну тяжело найти что-то на продажу. Но у нас была шерсть и яйца на обмен, а вдобавок корпия для керкуоллской больницы, так что к пристани Керкуолла я причаливала с надеждой – точнее, внушала себе надежду. Кон скривила рот, но затевать очередной спор не стала.

Она выбралась из лодки, и я сжала ее плечо. Она невесело улыбнулась, наверняка думала про себя: «Ах ты мелочь пузатая!» Так называли нас родители. Мы обе прыснули, как если бы она произнесла это вслух. Как спорить с человеком, если читаешь его мысли?

Бензин сейчас по карточкам, машин на улицах поубавилось, прохожие брели понуро. Непривычно, когда идешь по городу, а навстречу ни одного молодого мужчины – все на фронте; сначала

уходили единицы, потом все подряд. Казалось бы, на полупустых улицах громче должны звенеть детские голоса, но матери шикали на детей, не отпускали их от себя. Все как будто ждали очередного удара.

За шифером мы отправились на склад к каменщику Эндрю Фултону. Я тихонько постучала в приоткрытую дверь, и он встрепенулся. Взъерошил тонкие, как пух, седые волосы, вышел нам навстречу, вытирая руки тряпкой:

– А-а, Констанс.

– Я Дороти, это она Кон.

– Ах да. – Взгляд его забегал между мной и Кон. – И чем вам помочь, Дороти?

– Нам нужен шифер, крышу перекрыть. И кровельщик. Балки в хижине прогнили.

Эндрю снова почесал в голове.

– Ну, хижина-то совсем на ладан дышит. Но вот что, весь шифер у меня уже заказан, на юг отправляется.

– Что ни спроси, все на юг отправляется, – буркнула Кон.

– Так и есть, – согласился Эндрю. – Надо фронту помогать, даже если ты совсем старик и никудышный вояка. – Он рассмеялся. Мы не отозвались, и он умолк. – Значит, так, девчоночки...

– Ничего себе девчоночки, нам уже по двадцать три стукнуло, – возразила Кон.

– Понял. Ну так вот, дамы. Шелки-Холм – не лучшее для вас место, да и ни для кого не лучшее. Место это гиблое. Может, лучше вам вернуться в Керкуолл, в ваш старый дом? Отец ваш одобрил бы. Дом-то пустой стоит, заколоченный, смотреть больно...

– Нет, – отвечали мы хором, будто заготовили ответ заранее.

Взгляд Эндрю заметался меж нами, он вытер тряпкой испарину, и на лбу остались серые полосы.

– Да-да, – кивнул он. – Ну, тогда берегите себя. Война – не время старые обиды таить.

Не дожидаясь, когда Кон ему нагрубит, я схватила ее за руку и потащила дальше, в город.

Та же история повторилась, когда мы ходили за веревками и когда спрашивали про доски, – ничего на продажу нет, все отправляется на юг. Не лучше ли нам вернуться в Керкуолл? Забыть старые обиды и бежать с проклятого острова?

Уже в сумерках мы поплыли обратно на Шелки-Холм, не говоря ни слова, под плеск весел, на которые села Кон. Вечно она лезет на рожон – можно подумать, что нам при рождении отмерили запас злости и все забрала Кон. Вернее, я принимала это за злость или за храбрость, но с недавних пор поняла: храбростью Кон никогда не отличалась, просто умело прятала страх – по крайней мере, до последнего времени. Хорошо ей, наверное, жилось в ярком, сверкающем мире, лишенном страха.

А теперь она всего боится.

Поеживаясь от вечернего холода, мы вытащили лодку на берег и направились к хижине-развалюхе. Единственное окно мы затянули парусиной, но сквозняки все равно свистят в щелях, задувают через дыру в кровле.

Кон хлопнула было дверью, но я дверь придержала, чтобы не обвалилась стена и не вылетели расшатанные петли.

– Больше я туда ни ногой, – буркнула Кон и рухнула лицом вниз на широкую кровать. Мы задвинули ее в дальний угол, который в непогоду не заливают дождем.

– Как скажешь. – Наполнив водой единственную в доме кастрюлю, я поставила ее на плитку. Газа надолго не хватит, все теперь по карточкам, надо затянуть пояса, но об этом я еще успею подумать. Сейчас первое дело – выпить чаю.

– Не вернусь, – пробубнила Кон в подушку.

– Как скажешь, – повторила я.

– Не задабривай меня.

– Как скажешь, – ответила я с улыбкой и едва успела увернуться – Кон запустила в меня подушкой. Я швырнула подушку обратно и засмеялась, когда та угодила Кон прямо в голову. Лицо у нее сморщилось, синие глаза наполнились слезами.

Я чертыхнулась, стиснула ее в объятиях. Она вся сжалась.

– Не заставляй меня возвращаться, – прошептала она мне в шею.

Я достала из-под кровати бутылку бренди.

Кон мотнула головой:

– Прибережем. Откроем, когда будет что праздновать.

Я откупорила бутылку, отхлебнула:

– Празднуем новоселье!

Кон почти сразу уснула, лицо даже во сне хмурится, а я не сплю, снова и снова прокручиваю в голове слова Эндрю Фултона. Вспоминаю, как он засмеялся было, но осекся. Сам воздух на островах будто пропитан страхом, особенно на Шелки-Холме, овеянном слухами о несчастьях и проклятиях. Но Кон не уговоришь вернуться. И я прислушиваюсь, не гудят ли двигатели, смотрю на клочок неба сквозь прореху в крыше, не сверкнет ли вспышка, не промелькнет ли самолет. Жду, затаив дыхание. Тишина. Ни звука, только сонное дыхание Кон.

Глухой удар и рев. Мы обе вскакиваем.

– Что это? Что это было? Ты не ранена?

Хижина цела, мы невредимы, но шум означает одно: бомба. Немцы. Мы натягиваем свитера, обуваясь и, хлопая глазами, выскакиваем в темноту.

В заливе полыхает корабль.

На дальнем берегу, на холме, вспыхивают один за другим огни, слышны свистки и вой сирены: спасайтесь! В Керкуолле есть бомбоубежище, еще с прошлой войны, но стены его обваливаются – и немудрено, столько лет на него лазили дети, играли в войну. Кон оглядывается на нашу ветхую лачугу – стены в трещинах, крыша не чинена. Укрыться нам негде. Высматриваю в небе самолеты – ничего не видно, двигатели не гудят. И все равно до дрожи в коленях хочется где-нибудь спрятаться, сжаться в комок. зуб на зуб не попадает. Воют собаки, по-волчьи пронзая тишину.

Кон хватает меня за плечи:

– Пойдем в дом. Залезем под кровать, а дверь чем-нибудь подопрем.

Качаю головой, высвобождаюсь, гляжу на пылающий корабль далеко в заливе. Поднимается в небо столб дыма, и видно, как мечутся в рыжем пламени люди. Посмотреть издали – пляска.

Новый взрыв сотрясает землю. С ревом взметается вверх водяной столб и обрушивается вниз, и отдается эхом пронзительный скрежет металла.

Судно кренится, даже с такого расстояния видно, как быстро погружается оно в воду.

– Боже, – ахаю я. – Сейчас утонет.

Корабль скрипит. Крики, всплески – некоторые моряки прыгают в воду. Вот подбежал к борту горящий человек и, размахивая руками, бросился вниз.

– Сколько там людей? – спрашиваю я.

Керкуолл вспыхивает все новыми огнями, завывает сирена в такт моему дыханию.

– Пойдем в дом, – повторяет Кон, в ее взгляде ужас.

– Пятьсот? Тысяча? – гадаю я.

Кон отводит взгляд. Мы обе вспоминаем родителей.

– Нельзя, чтобы они утонули, – говорю я.

– Дот, я тебя умоляю. – Кон протягивает руки. – Бомбы, немцы.

И...

Догадываюсь, о чем она думает – о жителях Керкуолла, ведь туда сбежится весь город. Но не время сейчас о них вспоминать. Хватаю ее за руку и тащу под гору, к нашей лодке, к воде.

«Тьме и смерти навстречу».

Не время об этом думать.

– Дот, стой! – не умолкает Кон.

Но я, точно не слыша, толкаю что есть силы нашу лодчонку. Та будто выросла. Кряхтя, колочу по деревянному борту.

– Стой, Дот! – кричит Кон. – Никуда мы не поплывем.

Лодка застряла в песке; с залива снова доносится скрежет гибнущего корабля, и я подвываю:

– Давай же, чертова посудина!

Сдвинув наконец лодку, я сталкиваю ее на воду.

– Давай останемся, – просит Кон и кивком указывает на дальний берег, на Керкуолл, где по-прежнему воют сирены, мелькают тени, мечутся лучи фонариков. Мы на целую милю ближе к заливу Скапа-Флоу, чем они, здесь у нас пахнет дымом, слышны крики. Кон ни с места.

– Сама и оставайся, – огрызаюсь я и, спрыгнув в лодку, опускаю в воду весла, отчаливаю.

А собаки все воют, сирена все надрывается.

Пожалуйста, пожалуйста, твержу я про себя, глядя на Кон. И представляю, как вернусь в хижину, а она лежит там мертвая. Или я сама утону. Не хочу ее здесь бросать. Но и смотреть, как люди тонут, тоже не могу.

Кон закрывает лицо руками, наверняка и она думает о том же.

Рывкнув «Стой!», она прыгает в воду, шагает к лодке, перелезает через борт. Я пытаюсь ей помочь, но она отмахивается.

Протягиваю ей весло.

– Помирать, так вместе, раз уж конец света нагрянул, – говорит она, и я узнаю прежнюю Кон, а не тот комочек страха, в который она с недавних пор превратилась.

– Не придуривайся, – отвечаю я. – Никто не тонет.

Кроме тех моряков.

Мы налегаем на весла.

Высокой волной от взрыва нас отбрасывает далеко в сторону, Кон ахает. Под нами чернильная тьма, над нами раскрытой пастью зияет небо.

Где-то рядом, в заливе, притаилась немецкая подлодка, ищет цель...

Взбухает черной тучей густой дым, судно заваливается сильнее, дула орудий смотрят в усыпанное звездами небо.

– Вон там! – вскрикиваем мы хором. Глядимся друг в друга, будто в зеркало, – губы сжаты, обе дрожим. Кон, хоть и отпускала шуточки про конец света, смертельно напугана, как и я.

За бортом, лицом вниз, качается на волнах человек. В руку ему вцепился другой – барахтается, отплевывается.

Я перегибаюсь через борт и пытаюсь вытащить его из воды. Он скользкий, рот разинут в беззвучном крике.

Мы втаскиваем его в лодку, он кашляет и отплевывается, лежа на дне. Я тереблю его за плечо, он моргает, трясет головой.

Плывем дальше. Как выбрать, кого из них спасти? Как понять, кто из них хороший человек, а кто плохой? Богач, бедняк, нищий, вор.

В воде плавают трупы, лицом кверху. Глаза широко раскрыты, на лицах печать изумления, как бывает при нежданной встрече со смертью. Нет, даже не изумления, а почти смирения.

Подбираем еще двоих, еле живых. Лодка, сильно осевшая, едва не переворачивается, когда втаскиваем последнего. Бледный и дрожащий, он мешком валится на дно подле двух других. Один из них стонет, позвериному. Те, что в воде, машут руками, зовут на помощь из последних сил.

Не можем мы их взять.

– Другие лодки уже на подходе, – кричу я им. И спешу отвернуться – вдруг увижу, как кто-нибудь тонет, а спасти не смогу? Лодки из Керкуолла все ближе – надеюсь, успеют.

Кон гребет, дрожа, опустив голову, не глядя в сторону керкуоллских лодок.

Трое в нашей лодке смотрят на нас – глаза как блюдца, челюсти отвисли. Думают, что грезят наяву, или спятили, или в глазах у них двоится.

– Вы?.. – спрашивает один; говор не местный – видно, англичанин.

– Мы Хароны, – отвечает Кон. – Перевозим вас в царство мертвых.

Кон, когда ей тревожно, всегда отпускает мрачные шуточки.

– Да, мы двойняшки, – отвечаю я. – Вам не почудилось. Сейчас мы вас доставим в безопасное место.

Другие лодки из Керкуолла наконец с нами поравнялись, старые рыбаки перекликаются, высматривают в воде тонущих, втаскивают в лодки.

Не дай бог, враг, привлеченный шумом и огнями, сбросит еще бомбу.

Гляжу в небо. Свет звезд чистый и ясный, будто звенящий. Немецкий летчик запросто нас заметит и довершит дело. Дышать опять тяжело.

– Это не самолеты, – говорит один из спасенных. Голос еле слышен, и мы наклоняемся к самому его лицу, заглядываем в безумные глаза. Дыхание его отдает железом; он кашляет, и по подбородку стекает струйка крови, капает на белую рубашку. Он стонет, хватается за грудь. – Это не самолеты, – шепчет он снова. – Немецкая подлодка.

Мы переглядываемся. Не может быть! В этих водах безопасно – половина британского флота здесь пришвартована. Мимо здешних скал ни одно вражеское судно не проскочит. А на дне со времен Первой мировой лежат затонувшие корабли – настоящая баррикада.

– Как же она сюда пробралась? – не верит Кон.

Раненый пожимает плечами и снова заходится кашлем. И вновь струйка крови. Он стонет от боли, и тот, что рядом, что-то ему нашептывает, похлопывает по спине. У третьего сильно обожжены руки, пальцы обгорели дочерна. Он подносит к лицу ладони,

разглядывает их, словно некий посторонний предмет, неизвестно откуда взявшийся.

– Как?.. – спрашивает он. И непонятно, что ему ответить, – слишком много вопросов, на которые ответа не дашь.

– Что нам с ними делать? – шепчет Кон. – В хижину их не поведешь – их надо в больницу.

– В Керкуолл, – отвечаю я, стараясь не замечать, как она изменилась в лице, как наполнились страхом ее глаза.

Гребем к берегу, навстречу огням и шуму толпы, но в последнюю минуту Кон с силой налегает на весло и тремя мощными гребками разворачивает лодку к укромной скалистой бухточке.

– Отсюда ближе до больницы, – поясняет она, не глядя на меня. Здесь нет ни фонарей, ни пляшущих теней, ни чужих лодок.

Матрос в белой рубашке хрипит. По рубашке расплзается темное пятно. Убрав с весла руку, касаюсь его плеча, Кон тоже. Он вздрагивает, выбивая зубами дробь.

– Почти приплыли, – говорю я.

– Сейчас помощь приведем, – добавляет Кон. – Уже скоро.

Мы лавируем меж скал, и нос лодки с шорохом врезается в песок.

Позади нас уходит под воду корабль. Мы вместе с матросами оглядываемся, потом отворачиваемся. Все, кроме матроса с пробитой грудью, – глаза его остановились, глядят в одну точку. Уж не умер ли он прямо здесь, в лодке?

Склоняюсь над ним – нет, дышит, еле слышно, хрипло.

Все трое дрожат. Сняв шаль, укрываю двоих, которые уже выбрались на песок.

– Сейчас в больницу вас отведем. Только вот... – Кивком указываю на лодку, где лежит их товарищ, головой на коленях Кон. – Уже скоро, – говорю я им.

Оба, скривившись от боли, валятся на сырой песок. Матрос с обожженными руками беззвучно рыдает, разглядывая свои ладони. С воды, мешаясь с плеском весел, доносятся крики людей – спасенных, раненых, тонущих.

Сажусь в лодку подле раненого, кладу руку ему на грудь, рядом с зияющей раной, где засел осколок. Раненый кашляет, кровь брызгает нам на одежду.

– Господи, – стонет он. – Господи. Скорей бы это кончилось.

Я не из набожных, но на полке у нас стоит Библия – разбухшая от сырости, задубевшая от морской соли, как всё здесь, на островах. И мне знакомы библейские предания – о жертве и муках, о мире, о жизни вечной. Иногда смерть – это дар одного человека другому. А иногда личный выбор.

Кон наклоняется к раненому, на лице ее написан ужас. Тоже, наверное, вспоминает родителей? Думает, как и я, сколько они выстрадали? Меня мутит.

– Невеста у тебя есть? – спрашивает Кон.

Раненый натужно вздыхает.

– Фиона, – сипит он.

– Напишу про тебя Фионе, расскажу, как ты храбро сражался.

Он закрывает глаза, кривит губы в некоем подобии улыбки.

Волны плещут о борт лодки.

– Больно, – стонет он. – Помогите. Прошу, помогите.

До чего же хрупка и зыбка граница между жизнью и смертью.

Кон наклоняется к самому его уху.

– Сделать, чтоб кончилось? – долетает до меня ее вопрос.

Молчание; по телу раненого пробегает судорога, он чуть заметно кивает:

– Да, прошу тебя.

Кон снимает пальто:

– Ложись. (Он колеблется.) Ну же, – говорит Кон. – Раз, и все.

Раненый смотрит в сторону товарищей на берегу – оба застыли, разинув рты. Все мы ждем.

Он валится на дно лодки, кашляет, и на рубашку снова брызжет кровь. Привкус у нее, наверное, кисловатый, металлический, как привкус страха у меня во рту. Я сглатываю.

Раненый стонет и шепчет:

– Я готов.

Кон комкает пальто и, зажмурившись, прижимает к его лицу, накрыв нос и рот. Раненый сперва не сопротивляется, но потом взбрыкивает ногами.

Его товарищи у нас за спиной поднимают крик, и Кон убирает пальто с лица раненого. Сделав вдох, он опять заходится кашлем, хватая Кон за руки, вновь тянет на себя пальто. Кон с помертвевшим лицом зажимает ему нос и рот. Щеки у нее мокрые.

– Помоги, – говорит она.

И я понимаю, о чем она просит, – мысль о чужой медленной смерти в одиночестве нестерпима. Мы себе не простим, если бросим его здесь умирать. Мысленно вижу, как он задыхается в больнице на глазах у сестер. И знаю, что если сейчас мы его бросим, таким он нам и запомнится – не живым и не мертвым. В муках. На последнем издыхании. Таким он и останется с нами навечно.

В горле застрял жаркий комок – то ли тошнота, то ли крик. Между тем кровь на рубашке раненого поблескивает в лунном свете, руки-ноги у него дрожат от холода, боли и страха.

И я накрываю ладони Кон своими. Колючее грубошерстное пальто, частое жаркое дыхание раненого. Он опять сучит ногами, мы обе вздрагиваем, но налегаем сильнее. Двое на берегу молчат, склонив головы, будто в молитве.

Считаю до тридцати, до ста.

Человек затихает, и, выждав, мы убираем пальто с его окровавленного рта. Кон, всхлипывая, окунает край пальто в воду и утирает с его лица кровь. Теперь кажется, будто он уснул.

В больнице его завернут в простыню и отправят домой, к Фионе.

Всю дорогу до нашего острова и потом, когда мы ложимся в постель, я чувствую, будто что-то во мне надломилось.

Я по-прежнему ощущаю под пальцами грубую шерстяную ткань и знаю, что и Кон не может уснуть. Она дышит шумно, неровно – значит, тоже не спит, плачет. И у меня текут по щекам горячие слезы. Хочется протянуть руки, обнять Кон, но всякий раз, когда я пытаюсь это сделать, вижу перед собой того матроса, слышу его надсадные хрипы. И в полудреме лицо его сливается с лицом отца, с маминым лицом. Вспоминаю, как в последний раз провожала их взглядом, когда они толкали лодку к темнеющему горизонту. Помню, как Кон кричала им вслед, а сама вся сжалась, будто окаменела.

Помню ее молчание, когда они не вернулись. Помню, как день за днем ходила она к морю и глядела вдаль. Как она во всем винила себя. Как она прыгала в воду и задерживала дыхание, чтобы не выплыть.

Сегодня, когда она прижимала пальто к лицу раненого, я смотрела ей в глаза. С отчаянием и ужасом в них светилось горячее желание, что-то сродни зависти.

В темноте закрываю лицо трясущимися руками, лишь бы не вспоминать, как они касались колючей влажной шерсти, согретой дыханием этого несчастного.

С утра небо ясное, на море штиль, блики солнца слепят глаза.

Кон молча сыплет курам зерно, помешивает на плитке овсянку.

– Как ты? – спрашиваю я.

– Ничего, – отвечает Кон и спешит улыбнуться, но тут же отворачивается, и улыбка гаснет. Видно, что она убита горем.

Я замечаю краем глаза, как она соскребает с рукава блузки бурое пятно крови.

– Давай я.

– Я сама. – Она отмахивается, а щеки бледные, восковые.

– Ради бога, Кон! – Выхватываю у нее блузку. – Что с тобой?

Но я знаю, что с ней, обе мы знаем. Кон вышла в море спасать людей, а кончилось тем, что задушила раненого, чтобы избавить его от мук. Заметив, как она тайком от меня разглядывает свои руки, прикасается к шее, к тому месту, где бьется пульс, я по мимолетным движениям угадываю ее мысли. Трепет пульса напоминает ей, что она жива, а руки – что она способна прервать чью-то жизнь, если захочет.

Начало января 1942

Городская ратуша Керкуолла битком, все сидячие места заняты, да и стоять негде. Горожане пришли целыми семьями, жмутся друг к другу; взволнованные матери качают на руках малышей, шикают на детей постарше. В зале жара и духота, окна запотели. Все взгляды прикованы к столу, где Джон О'Фаррелл, мэр Керкуолла, перебирает бумаги, стараясь ни на кого не смотреть.

Он высок ростом, плечист, с копной рыжих волос – с недавних пор в них стала пробиваться седина. Обычно улыбчивый, сейчас он, откашлявшись, обводит хмурым взглядом беспокойную толпу.

– Спасибо, что пришли, – начинает он, и голоса в зале сразу смолкают. – Понимаю, все замерзли, хотят скорей по домам, спать. И я в том числе.

Несколько сдержанных смешков – и больше ни звука, все ждут.

О'Фаррелл продолжает:

– Все вы заметили, к нам причаливают корабли с грузом, и, знаю, ходят всякие слухи, разговоры. Но вот что я скажу: главное сейчас – безопасность наших островов. Гибель линкора «Ройял Оук» для всех нас большой удар. Всех нас тревожит, что немцы так близко.

Приглушенный всхлип в глубине зала.

О'Фаррелл прочищает горло.

– Более восьмисот человек погибли в ту ночь, но много жизней удалось спасти, несколько сотен британских моряков, и все благодаря мужеству оркнейцев. И все же нам нужна уверенность, что подобное не повторится. С англичанами у нас договоренность...

Голос из задних рядов:

– Правда, что сам Черчилль сюда приезжал?

– Не смеди народ, Дональд, – отвечает кто-то. – Тебе что Черчилль, что твоя...

О'Фаррелл вскидывает руки:

– Да, правда. Приезжал.

По залу пробегает шепоток.

О'Фаррелл жестом призывает к тишине.

– Мистер Черчилль обсудил ситуацию со мной и с местным приходским советом, и все мы согласны, что острова необходимо укрепить.

Укрепить? Недовольный гомон. Что это значит – укрепить? Так вот зачем сюда столько цемента завезли? И листовое железо, и колючую проволоку?

– Ну так вот, – О’Фаррелл снова вскидывает руки, – для этого решено построить в заливе барьеры между островами. Четыре барьера из камней и бетона, прочные, чтобы противостоять течениям...

Слышны возгласы:

– Барьеры?

– Отгородиться от моря?

– Да вы с ума сошли!

– А как же приливы-отливы?

– А рыба?

– Не миновать наводнений и прочих напастей.

– Тихо! – Джон О’Фаррелл стучит кулаком по столу, и тут же все стихает – нечасто бывает, чтобы он вспылит. – Тихо, – повторяет он уже спокойнее. – Укрепления строить придется, как ни крути – приказ самого Черчилля.

Подает голос Стивен Александер, румяный, с тонкими, как пух, волосами:

– При всем уважении, будь то хоть приказ самого Господа Бога, все равно неправильно это.

Возмущенные замечания: как бы ты ни злился, грех богохульствовать. Стивен, извинившись, соглашается – да, мол, пить надо меньше.

Джон О’Фаррелл покашливает.

– Для строительства укреплений требуются рабочие руки. Потому предупреждаю, через две недели к нам прибудет большая партия иностранных военнопленных.

Потрясенное молчание.

– Иностранцев? – переспрашивает кто-то.

– Да, итальянцев, их держали в плену в Северной Африке. Тысяча человек.

Поднимается гвалт.

– Тысяча?

– Да вы шутите! – слышен крик.

О’Фаррелл стоит с невозмутимым лицом, но руками с силой упирается в стол, аж костяшки белеют от натуги.

– Военнопленных разместят, – говорит он, – на Шелки-Холме.

– Нет! – хором откликаются два голоса из задних рядов.

Все, кто есть в зале, оборачиваются – это двойняшки Рид, в последнее время в Керкуолле их не видно.

– Нет, нельзя этого допустить, – возмущается одна, голос у нее дрожит; вторая шумно дышит, будто от быстрого бега.

– Вы уж простите, – отвечает О’Фаррелл, – но это дело решенное.

Все молча ждут, что они скажут.

– Господи Иисусе! – громко восклицает Стивен Александер. – Шелки-Холм! Добром все это не кончится.

И на сей раз никто его не попрекает за то, что помянул имя Божие всуе.

Народ выходит из ратуши, перешептываясь: слышали, что там творится, на Шелки-Холме? Люди пропадают, странные огни зажигаются, слышатся откуда-то звуки. А в море там живет существо, прекрасное и страшное, сводит человека с ума одним своим видом.

Мало того, что девочки поселились на проклятом острове, качают головой люди, еще и тысячи военнопленных им там не хватало! Кто знает, каких еще ужасов ждать?

Джон О’Фаррелл сидит за столом, на девушек даже не смотрит.

– Ваш долг этому помешать, – говорит одна.

– Простите. – О’Фаррелл сгребает бумаги, начинает заталкивать их в портфель. – Я высказывался против.

– Но... это же наш дом. Вы обещали...

– Да. Я обещал вашему отцу о вас заботиться. Но это... – О’Фаррелл разводит руками, указывает на кипу бумаг.

– Это важнее?

О’Фаррелл отводит взгляд, прячет остатки бумаг в портфель и, щелкнув замком, встает.

– Возвращайтесь-ка лучше в Керкуолл, – отвечает он. – Отец бы ваш не одобрил, что вы там, на острове, одни...

– А рядом тысяча мужчин? – спрашивает одна из девушек с застывшим лицом.

И, развернувшись, они выходят из ратуши навстречу вечернему холоду.

Те, кто подслушивал под дверь, рвутся их нагнать, образумить. Девочки и так горя хлебнули, а если останутся в этом гиблом месте, новых бед им не миновать. Говорят, всякий, кто там поселится, непременно сойдет с ума. Не грех девочкам об этом напомнить.

Но все в итоге смиряются – дескать, ничего не поделаешь. Некоторых не убедишь, сколько ни бейся, остается смотреть со стороны и надеяться, что все обойдется.

Середина января 1942

Дороти

Пленных итальянцев привозят под дождем.

Все утро мы с Кон сквозь дымку и морось высматриваем корабль. Холод пробирается в самое нутро, вздрагиваешь при каждом вдохе, но назад в хижину не уходишь.

– Вижу! – воскликнула Кон, но ей даже указывать не понадобилось, я увидела серую громаду в ту же секунду, что и она. Военный корабль, намного больше любого из тех, что пришвартованы в заливе, – чудище, да и только.

На холме, чуть позади хижины, теперь стоит лагерь военнопленных, строился он на наших глазах, в считанные недели. Обширный прямоугольный участок огородили сеткой с колючей проволокой наверху. За оградой хлипкие бараки из рифленого железа – кажется, ветер дунет, и развалятся. Есть строения побольше: столовая с рядами скамей, контора с письменным столом и стульями – мы видели, как их заносили охранники-англичане. И наконец, сарайчик, совсем тесный, но однажды дверь в нем распахнулась под порывом ветра и мы увидели прикованные к стене наручники.

Мы изумленно переглянулись: что же это за люди, для которых приготовлены цепи и кандалы? В Керкуолле слышали о зверствах врага – Майкл Далтон выпрыгнул с парашютом из горящего самолета над оккупированной Францией, несколько дней пробирался по занятой врагом территории, перевалил через Альпы и добрался до Испании. Французские женщины голодают, рассказывал он. Терпят побои, гибнут от пуль. Их насилуют, некоторые беременеют от немцев.

– Но у нас-то будут итальянцы, – возразила Майклу Кон, – а не немцы.

– Все одно фашисты. – В глазах Майкла светилось безумие. – Послушай, что в новостях передают.

Когда мы вернулись домой, Кон повернула антенну радиоприемника, так что звук потонул в помехах.

– Ни к чему всякие ужасы слушать, – сказала она. – Хватит с нас.

Я кивнула, вспомнив здешних ветеранов – тех, кто сражался в окопах Франции в Первую мировую, вспомнила, как трясутся руки у мистера Маккензи, как плачет мистер Гринвуд всякий раз, когда услышит хлопок в двигателе. Сам он не замечает слез, просто застывает в одной позе, с мокрыми щеками и неживым взглядом, пока дочь не уведет его за руку домой. Вспомнила я и нашего отца, как он кричал по ночам и всех будил.

Мы знаем, что творит с людьми война.

И вот он здесь, корабль, – надвигается на нас огромной серой стеной.

Стоя на утесе, смотрю, как пленных ведут с корабля в лагерь. До чего же их много – целая армия чужаков, солдат. Безоружных, но все же... неужели насилие у них в крови? Приходилось им убивать? Своими глазами видеть смерть? И все они сторонники Муссолини, Гитлера?

Бывает, Кон уснет, а я поворачиваю антенну, пока не поймаю новости, и всякий раз жалею.

«Вторжение. Бомбардировки. Кровавая бойня».

– Еще не поздно вернуться в Керкуолл, – шепчу я.

И, даже не глядя на Кон, знаю, что она качает головой.

Половина оркнейцев высыпала смотреть на прибытие пленных. Одни забрались повыше, на холмы, другие вышли на лодках в море, чтобы полюбоваться вблизи, как отчаливает корабль-исполин. Смотрят они и на нас, жительниц Шелки-Холма. Таращатся, сидя в лодках, будто ждут начала представления.

Иногда, по ночам, я думаю о проклятии, что тяготеет над нашим островом. Вспоминаю слухи, будто все здесь сходят с ума. И историю о том, как давным-давно одну здешнюю молодую женщину проклятие лишило рассудка и она, испугавшись, что муж задумал против нее дурное, зарезала его во сне. Если живешь здесь, рискуешь убить своего любимого.

Но ни у меня, ни у Кон нет любимого. И досужим бредням мы не верим.

Сотни пленных спускаются по сходням к нам на остров. Неотличимые издали.

«Целый рой, – думаю я. – Стая. Косяк».

Старое отцовское ружье висит в хижине, на всякий случай.

– Красавцы, – замечаю я, – и с виду... – У меня чуть не вырывается «самые обычные», но это полуправда. – Ну, с виду совсем не страшные.

– Лучше быть начеку, даже если они не убийцы, – отвечает Кон.

«Бывают опасные люди с ангельскими лицами», – говорила нам мама, давным-давно, а сама поглядывала на отца.

Тонкий бледный луч солнца пронзает облака, и несколько пленных замирают, любуясь зыбким зеркалом воды. Один с улыбкой тычет пальцем в небо, где парит глупыш. Птица пикирует, ныряет, пробив свое отражение, а когда выныривает, в клюве у нее бьется рыба.

Двое пленных радостно гикают, переглядываются, улыбаются. В эту минуту они не похожи на солдат-захватчиков, просто два чернявых паренька.

Они такие же, как мы. Мысль эта поражает как громом.

Охранники кричат, бросаются наперерез с дубинками.

Пленные отшатываются и понуро бредут дальше. На сходнях затор, охранники теснят и поторапливают пленных. Узники толкают друг друга, спотыкаются.

С мостков долетает вдруг крик. Смотрю в ту сторону – пленный, один из тех двоих, что наблюдали за птицей, балансирует на краю, размахивает руками, товарищи тянутся к нему.

Поздно.

Он срывается и исчезает под водой.

Всеобщий вздох – и итальянцы застывают, глядя туда, где он скрылся. Море у берега мутно-зеленое, ничего не видно.

– Боже, – шепчу я.

Островитяне в лодках крестятся. Воображаю, что они наплетут дома: узник исчез под водой, море потребовало жертву, прежде чем пустить на остров чужаков. Шелки-Холм обрастет новыми легендами.

«Смерть. Гибель. Жертва».

По берегу снуют охранники, перекрикиваются, глядя на воду.

– Надо что-то делать, – невольно вырывается у меня. Мыслимое ли дело, дать человеку утонуть? Помню, как тонули матросы с того корабля, как замирали их крики. Как затих раненый, перед тем как мы убрали с его лица перепачканное кровью пальто.

– Надо что-то делать, – повторяю я.

– Не вздумай, – предостерегает Кон. – Сейчас не как тогда. Волна поднялась, теперь пиши пропало. – Лицо у нее напряженное, зубы стиснуты. С тех пор как затонул корабль и погиб несчастный матрос, Кон почти не спит. И пальто она больше не носит – я его нашла под кроватью, скомканное, с черным пятном крови на синей шерстяной ткани.

Кон вздрагивает.

Помню, как прижимала ладони к лицу раненого, как боролся он за глоток воздуха, даже когда решил умереть.

Мы ждем. Все по-прежнему. Без воздуха человек может продержаться три минуты.

Охранники ходят взад-вперед по берегу, кричат, смотрят на море. Ни один не бросится за ним в воду. И вновь тревога и ужас захлестывают меня горячей волной.

Он исчез.

Тонет.

Он там, на глубине, вот-вот захлебнется, легкие разрываются.

– Упокой его, соленая вода, – шепчет Кон начало древнего погребального обряда.

– Он же еще не умер! – огрызаюсь в ответ.

В десяти шагах от меня обрыв.

Выпустив руку Кон, бегу.

Свист ветра, громкий плеск воды, обжигающий холод.

Прыгать в воду в январе – глупость. Безумие. Сумасбродство.

Откуда-то сверху доносится крик. Лицо Кон – бледный кружок, словно монетка на темном фоне. Вот она бежит к причалу, к сходням, откуда можно прыгнуть. Но тогда спасти тонущего будет поздно.

Ныряю, отчаянно работая ногами. Надо мной смыкается ледяная пленка, сжимает тисками голову. Выныриваю глотнуть воздуха и снова погружаюсь, шаря вокруг руками. Пусто.

Снова выныриваю за глотком воздуха и, перекувырнувшись, ухожу глубоко, слишком глубоко – грудь распирает, с губ срываются

пузырьки. В ушах звенит: «Три минуты. Три минуты».

И по-прежнему пустота, но вдруг – что-то мягкое. Рука? Одежда? Хватаюсь за ткань и, рванувшись вверх, тяну, тащу из воды что-то тяжелое, словно морского зверя.

О господи, господи! Он умер, я опоздала.

Холод пробирает меня до самых костей, я бью человека по щекам. И кричу, выкрикиваю какую-то тарабарщину. Потом пойдут разговоры о том, как я вытащила из воды утопленника-итальянца и криками вернула к жизни.

Все будут твердить – мол, дикость это, нырять за ним, спасать. И этот вопль. Боже милосердный, слышали бы вы! Будто и не женский, а звериный, аж эхо звенело в скалах!

Но все это будет потом.

А сейчас спасенный у меня на руках кашляет, хрипит, отплевывается. Переворачиваю его в воде и стучу по спине, другой рукой придерживая над водой его голову.

Как только он перестает кашлять, беру его за подбородок, так что лицо оказывается прямо возле моего. Кожа у него ледяная, но я чувствую, как вздымается его грудь, как колется щетина на подбородке. Его волосы щекочут мне лицо. Замедляюсь, чтобы отдышаться, и явственно ощущаю, до чего тяжело пульсирует кровь у него под кожей.

Плыву медленно, держа лицо поперек волн, чтобы в нос и в рот не заливалась вода. Руки-ноги тяжелеют, и я вдруг осознаю, какая подо мной глубина, как тянет меня вниз, будто невидимым канатом, привязанным ко дну.

Силы на исходе, рот полон соленой воды.

Можно бросить этого чужака, итальянца. Пускай себе тонет, а я одна доплыла бы до берега. Отдохнула бы наконец.

Нет! Я неотрывно смотрю на Кон – она ждет меня у мостков, всем телом тянется навстречу. Бью по воде ногами, мышцы ноют от боли; цепляюсь за сходни. Кричат охранники и, подхватив спасенного под мышки, вытаскивают на берег и бросают на землю.

Меня накрывает высокая волна, вода заливается в нос и в рот, глаза застилает тьма. Барахтаюсь, пытаюсь выплыть, но где верх, а где низ? И вновь та самая тяжесть в руках и ногах, и снова тянет ко дну.

Вдруг кто-то хватается меня за руки и выдергивает наверх, к свету и воздуху. Я отплевываюсь; рядом барахтается Кон, тащит меня из воды.

Отдуваясь, мы обе ложимся на сходни, Кон обнимает меня одной рукой.

Стискиваю ее ладонь.

Жар. Жизнь. Дом.

До меня доносятся, будто сквозь вату, голоса охранников и итальянцев.

– Вот дурында! Ты же чуть не утонула, – выдыхает Кон.

– Но ведь не утонула, – слабо улыбаюсь я. – Ты меня спасла.

– Я и сама чуть не утонула. – Кон отстраняется. Меж нами тонкой струйкой сквозит холодок.

Спасенного итальянца волокут под руки вверх по склону, к лагерю. Он до сих пор кашляет, ноги его еле держат.

Возле колючей проволоки, за которой находится лагерь, ветер вырывает у него из руки размокшую открытку, и она, описав в воздухе дугу, опускается на землю.

Подбегаю, поднимаю ее. На открытке Дева Мария с Христом-младенцем и ярко-алое сердечко. Карточка мятая, замусоленная, а теперь еще и мокрая, но, как видно, ею очень дорожат.

Чувствую на себе чей-то взгляд, и от него становится вдруг жарко, щеки пылают. Это он, итальянец, на меня смотрит. Волосы у него мокрые, глаза широко раскрыты.

«Тебя бы уже на свете не было, – проносится в голове, – если бы не я». Странная мысль – от нее он кажется более живым и настоящим, чем любой из тех, кто рядом, даже чем Кон.

Узник кивком указывает на открытку:

– На счастье.

Не ожидала, что кто-то из пленных знает английский. Голос у него певучий, слова звучат музыкой, и у меня перехватывает вдруг горло, хочется слушать его и слушать.

И он говорит.

– На счастье, – повторяет он. И весь расплывается в улыбке и, поеживаясь, кивает в сторону моря, откинув с глаз непослушные темные волосы. Вспомнив, что мы оба чуть не утонули, я тоже улыбаюсь, и тепло разливается по всему телу, до кончиков пальцев, сердце колотится, и каждый удар отдается в животе.

Кажется, что этого человека я уже знаю, что между нами некое родство. Есть что-то знакомое в развороте плеч, но, главное, в глазах, в улыбке.

Чуть склонив набок голову, он смотрит на меня, на открытку у меня в руке. Он худощав, но плечист, держится прямо и гордо, хоть его и бьет дрожь. Я привыкла, что люди смотрят на нас с Кон бегающим взглядом, то на меня, то на нее, но этот человек смотрит на меня одну. И, глядя на него в ответ, я вновь угадываю в этом незнакомце что-то близкое, понятное – или это я ему чем-то близка и понятна, хоть это и невозможно, нелепо. Глупо.

Сердце заходится, мне все жарче и жарче, будто языки пламени лижут кожу, струятся по пальцам. Сказать бы ему что-нибудь, да все слова забылись, и остается только смотреть, как он уходит, исчезает за воротами лагеря, слившись с толпой людей в одинаковой коричневой форме.

Кон не сводит с меня глаз. Меж нами сгущается молчание. Крик чайки.

– Спасибо, что прыгнула за мной, – говорю я.

– Пойдем в хижину, – отвечает она и пускается прочь, я следом. Мокрый подол шлепает по ногам, и с каждым шагом мне все холодней.

Ночь сырая, промозглая, сквозь худую кровлю задувает ветер. Рядом спит Кон, дышит мерно, спокойно. Выбравшись из постели, бесшумной тенью выскальзываю за дверь. Похрустывает под босыми ногами трава, и ступни сразу немеют от холода, долго так не прстоишь.

Впереди, на гребне соседнего холма, четко вырисовываются будто вырезанные из бумаги контуры бараков. Кое-где тускло мерцают рыжие огоньки. Отсюда они кажутся почти уютными, точно из сказки. Все похожие сказки заканчиваются смертью, но я даже предположить не берусь, чем закончится эта. Она кажется новой, небывалой, таких в нашем северном краю никогда не слагали: сотни узников на проклятом острове, а кругом война. И где-то там, в одном из бараков, он, широкоплечий, с открыткой в кармане.

Какой же он был тяжелый, когда я тащила его из воды! И как тепло прижималась его щека к моей, когда я плыла.

Наутро мы с Кон, взяв удочки, идем ловить макрель.

Ноги сами несут нас к лагерю, хоть мы и не стоваривались туда идти. Чем заняты сегодня узники? Когда они начнут возводить укрепления – и как? Часть материалов сюда доставят морем, но и здесь, на острове, придется добывать камень.

На собрании в ратуше речь шла про взрывные работы, про карьер.

Поблескивает под утренним солнцем колючая проволока. Свисток, топот тяжелых сапог. Замирающий крик. Мое сердце стучит как молот. Здесь, вблизи от лагеря, каждый звук отдает угрозой.

Я не в силах больше сделать ни шагу в сторону колючей проволоки. Кон тоже останавливается, и мы ныряем в высокую траву невдалеке от бараков. Если затаиться, никто нас не заметит. Несколько пленных выходят на вытопанную квадратную площадку, охранник выкрикивает приказы, ветер относит слова, но в его голосе слышен гнев, а итальянцы стоят поникшие, глядя в землю.

– Как им, должно быть, одиноко вдали от дома, – говорю я.

Кон кивает.

Вновь свисток – и пленные каменеют, а потом, развернувшись, шагают в большой центральный барак. Наверное, завтракать.

Как же надо запугать людей, чтобы они так вздрагивали от свистка! Как затравленные шавки, что боятся пинков и побоев.

Снизу, с берега, тоже слышны крики. Человек десять, почти все в штатском, вытаскивают на песок лодку.

– Наверное, из Керкуолла, – говорю я и жду, что Кон возмутится – мол, еще не хватало у нас на острове чужих, но Кон молчит, и мы смотрим, как они поднимаются вверх по склону. Некоторые с ящиками и корзинами, несколько человек в форме охранников. Отсюда не видно их лиц, не слышно, о чем они говорят, но наблюдать за их шествием к лагерю почему-то интересно. Будто смотришь спектакль – как летом в Керкуолле, когда бродячие артисты на улицах играли Шекспира. Особенно нравилась нам «Буря». Волшебство, море, тайны. Актеры выходили на сцену и уходили, некоторые с оружием, и мы знали, что ход событий может перевернуться в любую минуту. В детстве все нам было одинаково интересно – что любовь, что смерть.

День за днем мы ходим к лагерю смотреть, как пленные поутру бредут к берегу – теперь там карьер. Я ищу в толпе его лицо. Взгляд у него был серьезный, но согревал теплом. Он тогда улыбнулся – или это мне померещилось? Я пытаюсь его вспомнить, но черты ускользают из памяти, не получается мысленно воссоздать его облик. И я закрываю глаза и вспоминаю, как его небритая щека покалывала мне ладонь, когда я держала над водой его голову.

Итальянцы выгружают с корабля технику – грузовик, землеройную машину, бетономешалку. С каждым новым механизмом на острове становится все шумнее. Даже ночью нет нам покоя. Из-за огней лагеря не видно звезд, а крики заключенных – то ли крики боли, то ли отчаяния, то ли веселья – не дают нам спать.

А как только Кон засыпает, я поворачиваю антенну и ловлю среди помех отдельные слова: «вторжение»... «зверства»... «число убитых»...

Однажды утром, примерно через неделю после прибытия итальянцев, мы с Кон сидим неподалеку от лагеря, возле куста дрока.

Мы сидим не шелохнувшись, и вдруг краем глаза я замечаю движение. Вдоль колючей проволоки, снаружи, шагает человек в темно-зеленой форме лагерной охраны. Издалека лица не разглядеть, но по светлым волосам и широким плечам я узнаю Энгуса Маклауда. И он смотрит на нас в упор.

Меня будто окатили ледяной водой.

– Ах ты гад, – бормочу я; мне уже совсем не до итальянцев. – Пойдем, Кон. Домой, в хижину. (Еще не поздно, она его пока не увидела.)

Кон пытается возразить.

– Пойдем, – повторяю я; грудь сдавило, во рту пересохло. (Только не поворачивайся к нему, только не поворачивайся!)

Поздно, Энгус уже шагает к нам, ухмыляется.

С бьющимся сердцем встаю и спрашиваю, следя, чтобы голос не дрогнул:

– Ты что здесь делаешь?

– Разве так здороваются, Дот? Думал, ты мне обрадуешься. Кон, я вижу, рада. Правда, Кон? – Энгус всегда умел нас различать, еще со школьных времен.

– Ты здесь охранник? – спрашивает сдавленным голосом Кон. – Как ты в охранники выбился?

Энгус поворачивается туда-сюда, раскинув руки, будто хвалится новенькой формой.

– Слышал я, ты на той неделе в море искупалась, Дот.

– Не твое дело.

– Ты, говорят, со скалы прыгнула, чуть не утонула. Подозрительно это: зачем тебе итальянцев из моря вытаскивать? Потому что на острове ни одного мужика? – Маклауд похотливо усмехается.

– Лучше держись подальше отсюда, Энгус.

– Да ну, ерунда это, все слухи про ваш остров. Вам тут живется, похоже, припеваючи. И виды здесь красивые. – Маклауд жестом обводит пейзаж и нас.

– Убирайся домой, в Керкуолл, – цежу я сквозь зубы.

– Полегче, Дот, а не то прослывешь стервой, как твоя сестра. Я просто смотрю, люблюсь, что тут такого?

Кон стоит рядом и тяжело дышит. Я обнимаю ее за плечи, притягиваю к себе:

– Пойдем. Скорей домой.

Мы отворачиваемся от него.

– Ай-ай-ай, как нехорошо! – кричит нам вслед Энгус. – А на пирог не позовете?

Всю дорогу до дома я чувствую, что Энгус смотрит нам в спину, и не могу отделаться от мысли, что нам от него не сбежать, как ни старайся.

Нам от него не избавиться. Меня будто кулаком в грудь ударили. Я начинаю вдруг задыхаться.

Затягиваю потуже окно парусиной, прислоняю к раме распиленную пополам доску, подперев камнями. Кон гвоздем подкручивает шурупы в дверных петлях, а потом мы, стоя на кровати, перекладываем доски, листы пластмассы и парусину, которыми заделана дыра в крыше. Небольшая дырочка все-таки остается, сквозь нее виден клочок вечернего неба, но ничего не поделаешь.

Затем, не говоря ни слова, мы достаем из шкафа на кухне отцовское ружье. Я протягиваю Кон патроны, и она заряжает оружие.

Ложась спать, мы кладем ружье на кровать между нами.

Среди ночи в хижину к нам стучат. Вернее, скребется кто-то – сначала царапает дверь, потом металлическую ручку. Сквозь дыру в крыше льется серебристый лунный свет, мерцая, когда трепещет на ветру ветхая парусина.

И снова кто-то тихо скребется в дверь: цап-царап. Крыса? Лисица? Но лисы на острове не водятся. Ладони у меня взмокли, стук сердца отдается в ушах.

Спина упирается в стену хижины, рядом замерла Кон.

– Что такое? – шепчет она.

Я качаю головой.

Замок у нас на двери надежный, доска на окне прибита накрепко, и все равно мы цепенеем, вжавшись в стену, смотрим на дверь, ждем. Холодная сталь ружья; я сжимаю его что есть силы, до боли в пальцах.

В дверь уже не скребутся, а ломаются. Вместе с громыханьем просачивается затхлый земляной душок, а в сердце вползает ледяной ужас.

В Керкуолле ходит легенда о том, что на Шелки-Холме, в этой самой хижине, жила когда-то бедная девушка, дочь пастуха. И влюбилась она в богача-шотландца, хоть и была уже обручена с другим. Да только жених ее был беден, а ей надоело жить на Шелки-Холме, мерзнуть, есть одну картошку с черствым хлебом. Ей было понятно, что богач на невесту бедняка и не взглянет. Тайком сварила она жениху картошку с болиголовом. Когда он сказал, что еда горчит, она заплакала, и он съел все до крошки, лишь бы осушить ее слезы. Труп его она положила в лодку и сбросила в море, а потом стала женой богача. Но от угрызений совести разум у нее помутился, и даже после смерти душа ее не знает покоя. В Керкуолле верят, что по острову Шелки-Холм бродят два призрака, той девушки и ее возлюбленного, ломаются по ночам в хижину, терзают людей с нечистой совестью, ищут тепла у тех, кто сгорает от стыда.

Кон, впервые услышав легенду, сказала: надо было его закопать – море, бывает, выбрасывает на берег то, что пытались в нем спрятать.

Совесть мучает лишь тех, кого страшит наказание.

Легко поверить в старые сказки глухой ночью, когда ветер норовит сокрушить хижину, скользят по стенам лунные лучи и кто-то скребется в дверь. Представляю, как дверь распахнется и я вскину ружье, прицельюсь. Метить буду в сердце или в голову. Все тело ноет.

Считаю до ста, до тысячи, до десяти тысяч. Слежу за дырой в крыше, не лезет ли кто. Смотрю на дверь, не откроется ли. Но замок крепок, а рваный клочок неба над головой темен и пуст.

Стихает ветер, а с ним и скрежет, и вскоре Кон, уткнувшись мне в плечо, расслабляется и засыпает. Она тихонько посапывает мне в шею. Я на все готова, на любые жертвы пойду, чтобы ее защитить.

Спрашиваю себя, как мы будем жить дальше, если рядом и Энгус Маклауд, и еще тысяча человек. Представляю, как все они дышат в темноте: узники, охрана, повара, те, кто доставляет в лагерь письма, привозит продукты. Жизнь наша словно бы превратилась в карту, и вот ее складывают, сворачивают, и мир вокруг скукоживается.

– Мы больше не одни, – шепчу я себе и Кон под шорохи в темноте, сквозь поток мыслей. – Больше мы никогда не будем одни.

Часть вторая

*Как льну я к тебе,
Так и ты льнешь ко мне,
Ведь друг для друга мы – главное.*

Эндрю Грейг, «Оркни/Наша жизнь»

Середина января 1942

Чезаре

Ко многому в Оркни ему тяжело привыкнуть – к небу, простору, погоде. К морю, этой ревущей массе воды, что грозит поглотить тебя, стать твоей ледяной могилой. К холоду, от которого ломит кости и днем и ночью. К чужим глазам – днем копаешь землю под взглядами охраны, ночью спишь под взглядами соседей по бараку. Ты никогда не остаешься один, но всегда одинок. А еще гнев. Невыносимый, потому что бороться с ним бесполезно, можно только загнать его внутрь.

Родом Чезаре из Моэны, с севера Италии. Приграничье, кругом горы, все утопает в зелени. Земли эти не раз переходили из рук в руки, там был свой язык – ладинский^[1], одно время там развевался даже турецкий флаг. Как и оркнейцы, жители Моэны для всех чужаки, зато друг для друга свои, полностью, без оговорок. Впрочем, ни о чем подобном не задумывался маленький Чезаре, чернявый крепыш, вечно чумазый – то к земле щекой прижмется, наблюдая за муравьями, то паутину разглядывает, стоя в пыли на коленках.

Учился он в местной школе, был смышлен, но непоседлив. В его вихрастой голове роились фантазии, учителя только руками разводили.

«Боже мой, Чезаре, да не вертись же! Опять опоздал, Чезаре, и только полюбуйся на свои коленки!»

Но учителя журили его с ласковой улыбкой – Чезаре хоть и опаздывал, зато частенько приносил им подарки: то нарисованную во всех подробностях голову зимородка, то вырезанную из дерева полевую мышь с блестящими глазками-бусинками. Его гладили по голове, трепали по щеке: «Завтра приходи вовремя, Чезаре!»

Он улыбался, кивал. И назавтра снова опаздывал.

В восемнадцать лет, к немалому разочарованию родителей, Чезаре не стал работать на отцовской ферме, а пошел в ученики к художнику из местной церкви – учился кузнечному ремеслу, резьбе по камню и дереву.

Наставник попался ему строгий, привыкший, что ученики халтурят, бегают за юбками, пьянствуют. Чезаре же трудился за троих, и хоть часто опаздывал и приходил с воспаленными от недосыпа глазами, зато приносил наброски и тщательно перерисовывал на стены и потолок церкви: под куполом кружили голуби, меж массивными каменными колоннами сплетались оливковые ветви. Люди стали приходить в церквушку полюбоваться росписями, которые так и дышали жизнью.

Через четыре года мастер ушел на покой, оставив своим преемником Чезаре. На ножках престола Чезаре вырезал листья, вдоль аналая – птичек. Под скамьями он вырезал крохотных зверушек – заскучает во время проповеди малыш, начнет задремывать, нащупает под скамейкой лягушку или крота и до конца службы просидит как зачарованный.

К 1937 году о Чезаре шла слава на всю округу. По крайней мере четыре девушки мечтали женить его на себе – поджидали по очереди у церковных дверей, водили на семейные ужины, где смахивали с его волос опилки, и обо всем-то ему приходилось напоминать – кем работают их родители, какой сегодня день.

Родители девушек на него взирали со смесью восхищения и подозрения. Парень видный – плечи широкие, подбородок волевой, – и росписи он делает дивные, спору нет. Но... Боже правый, какой из него муж? А отец? Не красками же детей кормить! Вдобавок тощий... А в волосах у него что, опилки?

И с севера и с юга надвигалась война. По улицам маршировали люди в форме, скандировали: «Дуче, дуче!» Есть такие беспощадные бури, что сметают все на своем пути. Твердых политических взглядов Чезаре не имел, но и трусом прослыть не хотел, и вместе с другими парнями из деревни его отправили в Северную Африку.

Зной пустыни. Едкий пот застилает глаза. Сжимая влажными ладонями раскаленную сталь автомата, Чезаре ползет по-пластунски, целясь в песчаные вихри, надеясь, что никого не убьет и его самого не настигнет шальная пуля. Если вообразить, что сражаешься с песчаными вихрями, с духами пустыни, то станет немного легче. А если представишь, что в тебя тоже целятся, то палец застывает на спуске. По ночам он рисовал пальцем на холодном песке горы,

изящную женскую ножку, церковь в Моэне. И смотрел, как его рисунки стирает ветер.

Через два месяца он попал в плен; лагерь среди пустыни – колючая проволока, адское пекло. Дальше – корабль, путь на север. В суровый, ветреный край.

На остров, где небосвод разверзается над тобой, словно пасть, где кричат и машут дубинками охранники.

Лучше, рассудил Чезаре, не поднимать глаз, не подавать голоса.

Вместе с толпой других пленных его ведут через стальные ворота в квадратный дворик; всюду бараки из листового железа, вокруг лагеря колючая проволока. Холод, серость, острые углы; охранники в форме выстраивают подавленных узников в шеренгу, считают по головам. Охранники вооружены длинными дубинками и пистолетами. Тот, что пересчитывал итальянцев, стучал каждому по голове дубинкой – не больно, но достаточно, чтобы дать понять: отныне твоей жизнью распоряжаемся мы.

Каждому пленному бросают под ноги коричневую форму – штаны и рубаху.

– Всем переодеться, живо, – рявкает охранник, остановившись напротив Чезаре; у него жидкие усики, нос покраснел на холоде. – Чего уставились? – требовательно спрашивает он, тыча в форму дубинкой. – Шевелись! – И идет дальше вдоль шеренги.

Чезаре озирается – справа и слева от него пленные торопливо расстегивают старые серые рубахи. Рядом с ним Джино, слышно, как он стучит зубами от холода, вот вскрикнул Антонио, которого охранник ударил дубинкой – дескать, поживей!

– *Basta!*^[2] – кричит охраннику Чезаре. – Он по-английски не понимает.

Охранник с дубинкой наперевес подлетает к Чезаре:

– А ты понимаешь?

– Чуть-чуть. – Чезаре избегает взгляда охранника.

– Значит, поймешь, если я скажу: еще раз вякнешь – пожалеешь.

Чезаре, глянув на дубинку, коротко кивает.

– Тогда заткнись и одевайся. Живо.

Под взглядом охранника Чезаре возится с пуговицами, дрожа от резкого, жгучего ветра, кое-как натягивает онемевшими руками

коричневую форму. Тонкая шершавая ткань не защищает от пронизывающего холода.

Чезаре смотрит, как удаляются прочь черные ботинки охранника, и облегченно вздыхает.

Свисток – и Чезаре, выпрямившись и вытянув шею, видит: на возвышение перед строем пленных поднимается рослый человек в форме. Он, как и охранники, с пистолетом и дубинкой. Седые усы, лицо обветренное. На мундире блестят медали, топорщатся ленты.

– Смирно! – выкрикивает он. – Я майор Бейтс, ваш начальник. Жду от вас порядка в лагере. Жду выполнения приказов, беспрекословного подчинения. Всегда помните, что вы здесь в плену. Ваши жизни в наших руках.

Он оглядывает строй, и взгляд его не оставляет сомнений: майор скор на расправу.

Майор Бейтс продолжает:

– Ваша задача здесь – строить между островами укрепления. Работать будете бригадами, добывать камень в карьере.

Рядом с Чезаре перешептываются те, кто хоть немного понимает по-английски, и Чезаре неловко поеживается: строить укрепления – значит работать на врага.

Свисток майора Бейтса – и итальянцы замолкают.

– Если будете выполнять приказы и усердно работать, ничего плохого с вами здесь не случится. – Майор Бейтс умолкает, перехватывает другой рукой дубинку. – Вы, однако, заметили, что на форме у вас два красных круга. На плече и на ноге.

Чезаре, опустив взгляд, дотрагивается до красных меток. Его товарищи делают точно так же.

– Это мишени, – поясняет ровным голосом майор Бейтс. – При попытке к бегству охрана будет стрелять в руку. Если не остановитесь – в бедро. Если и тогда не остановитесь, то по более крупной цели. – Он подносит руку к голове, к седым волосам.

Пленные, даже те, кто не знает английского, замирают неподвижно, как будто им целятся в руки, в ноги. В голову.

В улыбке майора Бейтса ни капли теплоты.

– Обедать будете в столовой, вон там. Подъем по первому свистку, после второго свистка строитесь во дворе на перекличку. Выполняйте приказы, это залог вашей безопасности. За неподчинение – в карцер,

на хлеб и воду. Кто будет бездельничать – в карцер. Кто опоздает на перекличку – в карцер.

Даже те, кто ни слова не понимает по-английски, способны уловить угрозу в настойчивом повторении: в карцер, в карцер, в карцер.

У Чезаре пересыхает во рту, когда его вместе с полусотней других узников ведут в барак. Гуськом заходят они в темное помещение с деревянными лежанками у стен и печуркой в центре.

Джино и Антонио в том же бараке, занимают койки рядом с Чезаре. Надзиратель – небольшого роста, прыщавый, совсем мальчишка – всем раздает по куску мыла и говорит: помойтесь потом, а сейчас в карьер, работать.

Никто не трогается с места, и надзиратель краснеет как рак. Пока он не повысил голос, не схватился за дубинку, никого не потащил в карцер, Чезаре обращается к остальным по-итальянски:

– Собирайтесь, идем в карьер. Строимся!

Пленные строятся – медленно, нехотя, кое-кто недовольно косится на Чезаре. Надзиратель ему благодарно кивает, и узники еще больше мрачнеют.

– Как тебя зовут?

– Чезаре.

– Ну что, Чезаре, получишь за ужином лишнюю пайку хлеба.

Другие узники протискиваются мимо него, кое-кто по-прежнему смотрит исподлобья.

– Так ты теперь шестерка у англичан? – ворчит один.

Чезаре не успевает ничего объяснить – дескать, хотел их защитить, обезопасить, с охраной шутки плохи, начальник лагеря любому из них пустит пулю в лоб, – как сокамерник толкает Чезаре, и он падает навзничь, ударившись затылком об угол деревянной койки.

– *Traditore!* – рывкает тот. – Предатель!

Джино и Антонио помогают Чезаре встать. У него невольно сжимаются кулаки, но обидчика уже и след простыл.

Джино смотрит строго:

– Лучше не высовываться, Чезаре, ты же сам понимаешь.

Чезаре кивает, вспомнив месяцы в североафриканском лагере. Тучи жирных черных мух, что вились над трупами тех, кто выражал недовольство или привлекал к себе внимание. Если хочешь выжить,

стань невидимкой – представь себя винтиком в машине и делай что надо, без жалоб, без колебаний.

– Строимся. – Антонио хлопает его по плечу, задев красный кружок, куда нужно целиться, и следом за остальными они выходят на лютый холод и строятся, собираясь в карьер.

В первую ночь Чезаре не может сомкнуть глаз – прислушивается к дыханию полусотни затравленных людей. Уже стемнело, но храпа не слышно – попробуй усни, когда ты весь словно сжатая пружина, дышать тяжело, и каждую секунду ожидаешь удара.

Ему снова слышатся окрики охранников в карьере, снова кажется, будто лопата в руках лязгает о камень, и каждый удар отдается в мышцах. Снова от взрывов сотрясается все тело и ноют зубы. Сколько тачек с камнями перевез он, не сосчитать! На ладонях вспухли пузыри мозолей, и даже когда мозоли лопнули, он не выпускал из рук лопату.

Он беззвучно повторяет молитву и, закрыв глаза, вспоминает своды церкви в Моэне – нарисованные ветви, радужных птиц, что взмывают под самый купол, соприкасаясь крыльями.

Перед тем как заснуть, он нащупывает в кармане открытку – уже высохла. Он пытается вызвать в памяти лицо той девушки, его спасительницы. Вспоминает ее глаза и то, что он в них увидел – теплоту, доброту, грусть. То, отчего у него участилось дыхание, а сердце застучало гулким мотором.

Конец января 1942

Островитяне

Заледенелыми улицами стекаются жители Керкуолла в городскую ратушу, снова на собрание. На кустах серебрится иней, спешат прохожие, в воздухе вьется парок от их дыхания. Уличные фонари уже погашены, и все пробираются вперед мелкими шажками, жмутся друг к другу, чтобы не споткнуться.

В тускло освещенном зале ждет Джон О'Фаррелл, стиснув зубы, упершись в стол кулаками. В воздухе искрит, будто перед грозой, но О'Фаррелл не из тех, кто уклоняется от борьбы.

Прошлом собрание, перед тем как привезли пленных, чуть не сорвали – мол, толку от него не будет. Можно подумать, от болтовни что-то изменится! Кое-кто призывал бойкотировать собрание и все решить самим, раз и навсегда. Другие возражали: а вы попробуйте выдворить с острова тысячу иностранцев, раз и навсегда!

И вот все перешептываются, ждут, когда заговорит Джон О'Фаррелл. Женщины шуршат юбками, мужчины комкают в руках шапки. Они уже решили, что делать, если все пойдет не так, как они рассчитывали.

О'Фаррелл вздыхает и натянуто улыбается.

– Сразу к делу, – начинает он. – От меня не укрылось ваше недовольство идеей привезти к нам на остров гостей-итальянцев.

– Ладно бы идея! – слышен голос из толпы. – Идеи нас не объедают, детей наших голодными не оставляют.

– Да-да, – отвечает О'Фаррелл. – А еще идеи не пишут на стенах угрозы, Роберт Макрэй. Но ты-то ничего про это не слышал, так?

В тот день на двери ратуши кто-то вывел черной краской: «Итальяшки, вон!» Оттирать метровые буквы пришлось не один час, и в ратуше до сих пор попахивает скипидаром.

Макрэй, побагровев, ерзает на стуле, а его дружки, что ухмылялись после его дерзкой реплики, уставились в пол. Да и народ

теперь на стороне О'Фаррелла: Макрэй с дружками – хулиганье, который год житья от них нет.

О'Фаррелл продолжает:

– Хотя и не все ваши жалобы я поддерживаю, но и на трудности глаза не закрываю. Я, как и вы, не стану смотреть равнодушно, как наши дети голодают. Но укрепления строить надо, и без итальянцев нам никак. Мы тоже должны что-то делать для фронта, как и другие...

В толпе слышен ропот. Не все письма с фронта от сыновей и братьев дошли до адресатов.

«Мы проливаем кровь на войне, земляки наши гибнут, неужели этого мало?»

О'Фаррелл, будто прочитав эти мысли, вскидывает руки:

– Все вы знаете про ужасы, что творятся во Франции и Бельгии, про вторжение в Советский Союз, про бомбежки в Англии.

В зале кивают, галдят.

– Слышал я, в Лондоне от целых кварталов камня на камне не осталось, – бурчит кто-то.

– Так и есть, – отвечает О'Фаррелл. – Но для паники нет причин, надо просто помнить, что нам выпала возможность внести свой вклад...

– Фашистов кормить? – выкрикивает один из дружков Макрэя.

– Укрепить острова. Чтобы корабли и подлодки не наносили ударов с севера, не подбирались через Скапа-Флоу к остальной части Британии. Или торпедную атаку вы уже забыли? Да? Забыли «Ройял Оук»? Или география у тебя хромает, Мэтью Макинтайр? Видно, рановато ты школу бросил, по улицам шляешься, плоскостопие натоптал, вот тебя в армию и не берут?

Под общий смех Макинтайр съезживается на стуле.

– Как я уже говорил, – продолжает О'Фаррелл, – все мы должны вносить вклад в победу. Но как прокормить столько пленных и себя при этом не обделить? Вот я и поговорил с майором Бейтсом, и он согласен выделить нескольких человек – пусть приходят в Керкуолл, помогают на фермах и все такое...

– Вы в своем уме? – слышен голос. – Чтоб иностранцы на моей земле работали...

– Вас никто и не принуждает, Джордж, – перебивает О'Фаррелл. – Но забор у вас не чинен, и поле в этом году засеять некому, сыновья-то

на фронте.

Джордж хмурится, но не находит что возразить.

И через полчаса, к концу собрания, у Джона О'Фаррелла готов список работ для пленных, который он утром отнесет майору Бейтсу; недовольства в зале как не бывало – они же не дураки, разве кто откажется от помощи? И все равно людей надо подготовить. Лишь бы никто не попался в ловушку, не стал бы слепо доверять чужакам, что будут работать на их земле.

Дома женщины будут крепко целовать спящих детей, обещая их оберегать. Старики – дряхлые, тщедушные – достанут ножи для чистки рыбы, для обработки копыт. Тьма наполнится скрежетом стали о камень.

Конец января 1942

Чезаре

После многочисленных взрывов скальных пород на острове образовался карьер. Возле него охранники то и дело покрикивают на пленных: разойдитесь, спускайтесь, ну же, бегом, чертовы макаронники!

Слова этого Чезаре прежде не слышал, но понятно, что так охрана называет итальянцев, и означает это не только национальность. Еще это значит чужак. Идиот. Скотина.

Чезаре ложится на землю рядом с Джино и, прикрыв уши ладонями, считает. Он уже привык к раскатам, к тому, что содрогается земля и дрожь долго еще отдается в теле, – даже много часов спустя, когда он копает, ест, засыпает, сердце бьется неровно, дыхание прерывается.

Он словно очутился вне времени. По утрам, когда они вскакивают с коек и идут на перекличку, на улице серо и промозгло. Темно. Кажется, что постоянно темно. Когда они строятся во дворе, пошатываясь спросонья, будто их подняли среди ночи, и ждут, когда их пересчитают дубинкой по головам, Чезаре душит страх, что тьма сгустилась навеки. Больше не взойдет солнце, и не выбраться им из этого холодного края, так и сгинут здесь, забытые всеми.

Здесь они отрезаны от мира, зависли на краю земли, того гляди сорвутся в никуда.

Когда солнце расправляет бледно-розовые пальцы, узники оживляются, затягивают песни, что пели в родном краю девушки, когда молотили зерно. Бросив лопаты, обращают они лица к солнцу, пока охранник не рявкнет: а ну копайте, чтоб вас!

Вечером в бараке они встают на колени и молятся. Чезаре вместе со всеми повторяет слова молитвы. За всю жизнь он ни разу не усомнился в Боге, но, очутившись в таком месте, волей-неволей начнешь сомневаться.

Днем он добывает камни и грузит в тачку, а Джино их ссыпает в кузов грузовика. Когда Чезаре устает, они меняются местами. Охранники выкрикивают приказы, а узники нехотя подчиняются – те, кто не понимает по-английски, повторяют действия за остальными. Замешкаешься – охранники с дубинками тут как тут.

Однажды утром на исходе января, спустя две недели после прибытия на остров, Чезаре пытается выкопать булыжник, но тот не поддается. Слишком тяжелый, вдобавок острый, едва держится на лопате. Руки сводит от напряжения, и Чезаре приходит в голову, что если уронить булыжник на ногу, не придется больше копать. По утрам, во время переключки, он заглядывал в лагерьный лазарет и мельком видел ровные ряды кроватей, а две печурки обдавали его теплом.

Глядя на неустойчивый камень, Чезаре представляет, как тот сорвется с лопаты, раздробит ему ногу. Боль. Тепло. Отдых.

Он поворачивает лопату боком, и камень соскальзывает, слышен крик, рядом оказывается вдруг Джино, хватает его за руку. Камень падает сразу на две ноги, его и Джино.

Полсекунды, полвздоха. Боль невыносимая. Чезаре слышит вопли – свои, Джино, затем крик охранника; его поднимают с земли, он и сам не заметил, как упал. Охранник что-то орет ему в лицо, и Чезаре не сразу понимает.

– Пусти! Покажи.

Охранник пытается разжать руки Чезаре, но Чезаре не дает, ему хочется покрепче уцепиться за эту боль, помешать ей ускользнуть сквозь пальцы. Кто-то отводит в сторону его руку, охранник смотрит на покореженный башмак и, ругнувшись, поворачивается к Джино, который так и лежит на земле, сжавшись в комок.

– Вот черт! – кричит охранник. Судя по тому, как выглядит ботинок, ступня у Джино должна быть всмятку. – В лазарет обоих.

Чезаре подхватывают под руки, с одной стороны Антонио, с другой Марко, тот самый, что назвал Чезаре предателем, когда он начал переводить приказы охранника. С тех пор Марко иногда посматривал на Чезаре косо, но больше не угрожал и в драку не лез – они вместе копали, вместе мерзли, делили черствый хлеб и жидкий суп. Если Марко катил мимо Чезаре свою тачку, они обменивались понимающими взглядами.

Сейчас он держит Чезаре за плечи, обдавая его едким запахом пота.

Ступню пронизывает боль. Рядом стонет Джино. Ботинок у него смят, набух черной кровью. Чезаре отводит взгляд.

– *Mi dispiace*, – обращается он к Джино. – *Scusi*^[3].

Но Джино в ответ лишь машет рукой.

В лазарете их с порога окутывают тепло и свет. Из двадцати коек заняты лишь несколько. Антонио и Марко сажают их на койки у входа и сами, отдуваясь, плюхаются рядом.

К ним тут же, сердито стуча каблучками, подбегает медсестра. Сестра Крой, представляется она – молоденькая опрятная блондинка, судя поговору, местная. Все четверо наперебой объясняют, что случилось. Сестра Крой, поджав губы, указывает Антонио и Марко на дверь, а сама глаз не сводит с красных меток у них на форме.

Выпроводив их – не без труда, – она вновь оглядывает двух пострадавших. Джино лежит на койке, в лице ни кровинки.

Сестра Крой машет руками:

– Нет, нет, нет! В грязной форме у нас не лежат!

Она ждет, подбоченясь, но Джино и не думает вставать, и она, наклонившись, тычет его в бок.

– Он ранен, – цедит Чезаре сквозь зубы, преодолевая боль. – Ему на ногу камень упал. И мне тоже.

– А вы, оказывается, по-английски говорите? – Сестра Крой, сдвинув брови, оглядывается на Чезаре. И, снова мельком глянув на красные метки, отводит глаза.

Чезаре силится улыбнуться:

– Немного. Чуть-чуть. – Лицо у медсестры нисколько не смягчилось, и Чезаре прибавляет: – Я учил в церкви.

– Ну так скажите вашему другу, чтоб не ложился. Доктор чуть позже из Керкуолла приедет, а друг ваш, если хочет лечь, пусть наденет пижаму. Или пусть слезает с чистой постели.

Она бросает обоим пижамы. Материя на ощупь мягкая и, кажется, теплая; хочется зарыться в нее лицом, прижаться щекой, вдохнуть запах.

Нога болит. Чезаре, встав с койки, помогает подняться Джино, вдвоем они ковыляют за ширму и переодеваются, как велела им сестра. Дважды они чуть не падают, но Чезаре все-таки удается,

пристроив товарища между стеной и тумбочкой, помочь ему натянуть ботинки. Страшно снять ботинки, увидеть, что у них с ногами.

От гнетущего чувства вины у Чезаре перехватывает горло. Больно глотать, больно думать, что сказать Джино, а тот стоит бледный, лицо в бисеринках пота. Чезаре шепчет извинения с каждым вдохом.

Непонятно, куда пристроить форму, но не бросать же это грязное тряпье на пол, еще не хватало, чтобы молоденькая измученная медсестра подбирала, и он вешает форму на спинку стула, свернув ее красными метками внутрь.

Они ковыляют обратно, и Чезаре укладывает Джино на койку наискосок, чтобы ботинки не пачкали матрас, а потом и сам валится на хрустящие белоснежные простыни.

Возвращается сестра Крой и, взглянув на их пижамы, потом на обувь, кивает:

– Совсем другое дело. Доктор вот-вот будет. – Голос ее смягчился, и, глядя, как она поит еще троих больных – у них кашель, – Чезаре замечает, какие ласковые у нее руки.

– Спасибо, – говорит Чезаре, когда она приносит воды и ему. – Вы работаете медсестрой в... Керкуолл? – Незнакомое слово дается с трудом.

– Нет, – отвечает она. – У меня три младшие сестренки и двое братишек, всех кормить надо. Не хотела я иметь дел с пленными, но раз уж вы и так в Керкуолл будете приезжать... – Она пожимает плечами.

– Итальянцы в... Керкуолл? – Чезаре старательно выговаривает чужое слово. – Где это?

– На самом большом острове. – Медсестра показывает рукой: – Вон там, через пролив.

Чезаре об этом слышит впервые: по утрам пленных делят на группы, а кого куда отправляют, он не знает.

– Кто туда ездит, в Керкуолл? – спрашивает Чезаре.

– Пока никто, – отвечает сестра Крой. – Это всего два дня назад придумали. Кто-то из вас будет приезжать, помогать на фермах, так будет проще всех прокормить. Никому это не по душе. Но мама моя говорит, что раз уж от пленных нам никуда не деться, значит, можно мне и здесь подработать, помочь семье.

Она разглядывает стакан с водой у себя в руке, будто забыв, что Чезаре рядом. Чезаре ждет, в голове у него сумбур, нога ноет.

Сестра Крой продолжает:

– Ездить на этот остров, конечно, приятного мало, но все, что про него рассказывают, это бредни, мама так говорит. Хотя оберег она мне все-таки дала, веточку белого вереска. У нас такие на дверь вешают. – Достав откуда-то пучок сухих листьев, бурый, а не белый, она кивает с полуулыбкой. – И двойняшки здесь живут, никто их не трогает.

– Двойняшки? – вспыхивает Чезаре. И тут же жалеет, что переспросил, потому что медсестра, пристально глядя на него, перестает улыбаться и оправляет юбку.

– Некогда с вами тут болтать, пора записи делать для доктора.

Коротко вздохнув, она спешит прочь, стуча каблучками.

Джино уснул. По стене ползет квадрат света от окна. Ногу то и дело пронизывает боль, Чезаре считает эти приступы.

Он уже совсем отчаялся дождаться доктора, но тут раздаются шаги – шаги двоих – и входит сестра Крой, а с нею высокий человек, уже в годах, но осанистый, с пронзительным взглядом.

– Давайте-ка посмотрим. – Наклонившись, он начинает стаскивать с Чезаре башмак.

В ноге стреляет, и Чезаре, стиснув зубы, еле сдерживает стон. Доктор ощупывает его распухшие, почерневшие пальцы, велит согнуть их, это у Чезаре получается с трудом, и он стонет сквозь зубы.

– Возможно, перелом, в лучшем случае сильный ушиб. – Говорит доктор медленно, отчетливо. – Сделаем перевязку. Отдыхайте. Два дня, а там видно будет. – Он показывает жестами, будто бинтует, затем поднимает два пальца.

– Спасибо, – отвечает Чезаре. – Моему другу еще хуже. У него кровь, сам идти не может.

– А вы хорошо говорите по-английски, – замечает доктор, присматриваясь к Чезаре. – Писать умеете?

Чезаре кивает.

– С товарищами вы в хороших отношениях?

Чезаре чуть медлит, вспомнив о Марко, и снова кивает.

Доктор барабанит ручкой по бумаге.

– Чуть позже зайдет майор Бейтс, переговорит с вами. Если не хотите опять в карьер, пальцы ломать, будьте паинькой.

Сказав эти непонятные слова, доктор принимается осматривать Джино, у того, как выясняется, перелом большого пальца «и другие серьезные травмы». Медсестра, хмурясь, записывает, а Чезаре смакует слова – красивые, звучные слова о страшном.

«Серьезные травмы».

И когда он, пытаясь не замечать боли, лежит в полудреме, те же слова всплывают в голове вперемешку со словами медсестры.

«Защита. Живут же здесь двойняшки, и никто их не трогает. Серьезные травмы».

И снова вспоминается та рыжеволосая девушка. Как она, схватив за рубашку, изо всех сил тянула его наверх, к свету, к жизни. А потом, придерживая за подбородок, натужно дышала ему в ухо, шепча: ну же, ну же, ну...

Утром, в темноте, его будит свисток во дворе, следом слышится топот товарищей, выходящих из барачков на холод, на переключку.

Проснулся и Джино, лицо его в тусклом свете лампы искажено болью.

Чезаре протягивает к нему руку.

– Прости, мне так жаль, – в который раз повторяет он по-итальянски.

Джино обводит жестом теплую палату, кровати, чистые постели.

– А мне – нет.

Оба посмеиваются, и Чезаре опять засыпает.

Когда вновь просыпается, у его постели стоит высокий человек в форме, смотрит сурово.

Майор Бейтс.

Чезаре машинально пытается встать, но тут же стонет от боли.

– На больную ногу опираться нельзя. – Майор слегка улыбается, довольно дружелюбно. – Ложитесь, отдохните.

Чезаре кивает, втянув воздух, и ждет, когда схлынет приступ тошноты.

– Итак, – продолжает майор Бейтс, – доктор Таллок говорит, вы знаете английский. – И указывает на медсестру: – А юная Бесс говорит, у вас хорошие манеры – для иностранца. Это правда?

– Я... я говорю по-английски немного, и...

– Скромность украшает. Люблю скромных. Сможете переводить вашим товарищам? Спрашивать, кто что умеет делать, передавать мои приказы и так далее?

Чезаре не совсем понимает, чего от него хотят, но все равно кивает. Немыслимо отказать, когда собеседник весь в медалях, а сам сидишь в пижаме, в теплой постели, а в голове – звяканье лопат о камень: чирк, чирк, чирк!

– Вот и славно, – говорит майор. – Работа будет у вас непыльная, за письменным столом, ковылять до моей конторы недалеко – сможете сегодня же приступить? Сестра Крой вам поможет дойти. После обеда.

Сестра Крой бодро кивает, и оба смотрят на Чезаре.

– Да, – отвечает он наконец. – Спасибо.

Как только они уходят, Джино поворачивается к Чезаре:

– Что они говорили?

Чезаре качает головой, боясь тешить себя надеждой.

– Кажется, теперь я знаю, как здесь не пропасть.

Чуть позже он, поддерживаемый сестрой Крой, ковыляет через двор в контору майора. Чезаре одет в выстиранную форму, а сестра Крой говорит с ним суше, чем прежде, стараясь лишний раз к нему не прикасаться.

– Майор, говорят, вспыльчивый, но не злой.

– Спасибо, – отвечает Чезаре. – Присмотрите за моим другом Джино.

Сестра, кивнув, помогает Чезаре взойти на ступеньку и распахивает перед ним дверь. Дверь задевает груды писем, конверты летят на пол, где и без того полно бумаг, папок, коробок.

Майор сидит за тесным деревянным столом, который тоже ломится от бумаг. Тускло светит одинокая лампочка, и сквозняки здесь гуляют так же, как у Чезаре в бараке. Майор Бейтс, моргая воспаленными глазами, смотрит на Чезаре, затем встает.

– А-а. Вон для вас столик в углу. Спасибо, сестра Крой, возвращайтесь к больным. А вам... – он переводит взгляд на Чезаре, – вам сейчас тут вряд ли работа найдется. – Он поднимает с пола стопку бумаг, протягивает Чезаре: – Но если хоть часть бумаг с пола уберете, уже хорошо. С острова пришлют человека со списком работ, тогда и приступим. А-а! Вот и он...

Чезаре, оборачиваясь на скрип двери, радуется: вот пришел местный, сейчас объяснит, чего от него ждут, как делать эту работу, все равно какую, лишь бы остаться здесь, в кабинете, где гуляют сквозняки и громоздятся сугробы бумаг, а майор Бейтс совсем не похож на себя в первый день, когда он только и знал, что покрикивал да раздавал приказы. Главное сейчас – разобраться, как работать с пользой, не нажить неприятностей...

В распахнутую дверь врывается сноп света, и лишь спустя миг Чезаре видит, что вошедший – не он, а она. Девушка в длинной широкой юбке и толстом рыбацком свитере. Она переступает порог. При свете лампы видно ее лицо.

Сердце у него подпрыгивает, дыхание сбивается. Это она, такой он ее и запомнил.

Рыжие волосы, мраморная кожа, волевой рот, тонкие руки. И глаза, синие-синие. Взгляд задерживается на нем, и они делаются огромными.

– Так это вы! – говорит она.

Дороти

– Так это вы! – говорю я, а он стоит в потоке золотых лучей, что льются в распахнутую дверь, и, щурясь, смотрит на меня. Можно подумать, я силой мысли призвала его сюда. По рукам пробегает озноб, невольно вспоминаются легенды об этом острове, которые я так старалась выбросить из головы, – о шелки, о проклятиях, о людях, что появляются из тумана и в тумане исчезают.

Начальник лагеря поднимается из-за стола, заслонив от меня и кабинет, и итальянца.

– Кажется, вам не сюда, юная леди, – говорит он строго. – Кто вас в лагерь пустил? Ох и достанется часовому!

– Не надо! Он не виноват. Я ему сказала, что пришла вам кое-что передать.

– Могли бы на прием ко мне записаться...

– Дело срочное. – Во рту сухо, в висках стучит. – Прошу вас... я... у меня важная просьба...

– А-а. – Начальник лагеря скрещивает руки на груди. – Так вы из Керкуолла? Я-то думал, к нам другого человека пришлют, Джона О’Фаррелла.

– Я... (Взгляд итальянца скользит по мне, будто ощупывает.) Я не из Керкуолла...

– Значит, вам делать здесь нечего...

– Прошу вас, – не унимаюсь я. – Я здесь, на острове живу, в рыбацкой хижине. Крыша у нас дырявая, и чем дальше, тем хуже становится, а я слышала, кто-то из... кто-то из пленных будет помогать на фермах. Заборы чинить и прочее. Я подумала... – Слова застревают в горле.

Итальянец по-прежнему смотрит на меня из-за спины начальника. Взгляд у него пронзительный, и такое чувство, что стоишь в темноте, а он светит лампой тебе в лицо. Глаза его лучатся теплом, и я вся пылаю. Почему-то так и тянет отвернуться, но начальник лагеря тоже за мной наблюдает, хмурится, и я чувую, что он откажет, а этого допустить нельзя. Пусть он скажет да, потому что дома у нас, в хижине, дыра в крыше с каждым днем становится все шире от дождей и ветра, а у Кон такой кашель, что она сама не спит по ночам и меня тоже будит. Не могу смотреть, как напрягается ее шея при каждом вздохе.

– Прошу вас, – повторяю я, не дав начальнику опомниться.

Он качает головой:

– Нельзя вот так врываться с просьбами о помощи. Пленных мы отпускаем только на сельхозработы – столько ртов надо прокормить, пусть помогают растить урожай. А крышу вам пускай кто-нибудь из Керкуолла починит.

– Нет. Не любят они наш остров, сюда их не заманишь. Разве что за очень большие деньги.

– Я... Значит... Сожалею, не смогу вам помочь. – В эту секунду видно, что он и впрямь сожалеет, этот офицер в форме, весь в медалях, – а за что его наградили? За то, что он кого-то убил? Или кого-то спас? Или то и другое?

Кивнув, мельком смотрю на итальянца, чернявого, с теплым взглядом, и выхожу в заиндевелый двор. Скорей, скорей отсюда. Подальше от сочувственного лица начальника, от вопрошающих глаз итальянца.

Ежусь от холода, стараясь не замечать ни пустоты внутри от разочарования, ни того, что лицо пылает как от пощечины.

Сзади меня окликают.

Замираю, оборачиваюсь.

Снова итальянец, опять явился, словно подслушав мои мысли. Идет, хромя, по замерзшему двору и останавливается в трех шагах от меня, опираясь на одну ногу. С прошлой нашей встречи он осунулся, черты заострились. На щеке лиловая тень кровоподтека – наверное, обо что-то ударился.

– Что у вас с ногой? – спрашиваю я.

– Камень падал. Все хорошо, не сломана. А крыша у вас сломана.

– Да, – отвечаю я. И все-таки, откуда у него синяк на щеке?

– Вы замерзай. Нехорошо.

– Да, немножко, но...

– Я хочу чинить. – Он складывает руки, переплетя пальцы.

Ладони у него широкие, сильные, в синяках и порезах.

– То есть... как? – Поднимаю голову. Я не спрашиваю зачем.

Он кивком указывает на контору начальника лагеря:

– Майор Бейтс мне дал новую работу. Буду узнавать, кто из наших будут помогать на острове. Я вам помогу.

– Спасибо, только вряд ли у вас получится. – Я отворачиваюсь.

Он тянет меня за рукав. Я замираю, потрясенная.

– Я попробую. – С этими словами он отпускает меня.

Шагаю прочь, а он кричит мне вслед:

– Как вас зовут? Вы мне так и не сказали.

Оборачиваюсь, смотрю на него. Ветер треплет мне волосы, и лицо его я вижу в рыжем вихре.

– Дот, – кричу я в ответ. И добавляю: – Дороти.

– Доротей. – Он расплывается в улыбке. – А я Чезаре.

Мое имя в его устах звучит музыкой, перезвоном колокольчиков, наполняется нездешней красотой. До-ро-те-я.

И его имя – напеваю его, словно песенку, по дороге домой, в хижину. Че-за-ре. Че-за-ре.

Чезаре

Перед тем как зайти обратно в контору, Чезаре достает из кармана открытку – он сделал вид, будто ее выронил, а сам пустился вдогонку за девушкой.

Держа открытку на виду, он отворяет дверь.

– Спасибо. Она падала из карман, когда я заходил, – бормочет он невнятно.

Майор Бейтс нехотя отрывается от бумаг:

– Вот вам список имен, который охранники составили, здесь те, кому, по их мнению, можно доверять и кого можно отпустить на сельхозработы. Если вы в ком-то сомневаетесь, вычеркивайте, а тех, в ком уверены, подчеркните. – Он протягивает Чезаре карандаш.

– А если я кого-то не знаю?

– Ну так узнайте. Рядом с каждым именем номер барака. Успеете поговорить с кем надо – в столовой, к примеру, или я вам дам разрешение ходить по баракам вечером до отбоя.

Чезаре кивает; мысль о внезапной свободе кружит голову.

Майор Бейтс поднимает бровь и прибавляет, будто угадав мысли Чезаре:

– Сбежать вы отсюда не сбежите, из-за ноги.

Чезаре мотает головой:

– Я не...

– Ха! Да шучу я. – Майор Бейтс хочет хлопнуть его по плечу, но отшатывается при виде кроваво-красной метки.

И возвращается к своим бумагам.

– Тогда не тяните. С первой группой можете поговорить сегодня за ужином.

Столовая набита битком, пахнет кислой капустой, тянет духом несвежего мяса и чем-то металлическим, но здесь хотя бы тепло. Чезаре, прихрамывая, проходит мимо столов, где узники разламывают хлеб и макают в рагу, жидкое, как помои. Все заметно отощали за это время – костлявой спиной Чезаре трется о ветхий матрас, когда он ложится спать, – а еду, серое безвкусное месиво, обычно сметают, даже не успев поговорить. Майор ему сказал, что новую поставку провизии ждут со дня на день.

Сердце у Чезаре сжимается в тревоге, он приосанивается, высоко поднимает голову, но не пытается скрыть хромоту. Чересчур уверенная

походка наведет на мысли, что он уклоняется от работы, но если увидят, что он ослаб, наверняка его сочтут легкой жертвой – и охранники, и пленные. Ведь далеко не все знают, как он повредил ногу – станут думать, что его избил охранник. Чезаре ищет взглядом дюжего сержанта Хантера, которого здесь побаиваются. Надо полагать, этого будет достаточно.

Взяв поднос с хлебом и рагу, Чезаре подсаживается к товарищам по бараку.

– Как там Джино? – спрашивает Антонио. Ложку он держит неуклюже, будто рука болит, – как видно, и ему досталось от охранника.

– Рад передышке, – отвечает Чезаре.

– А ты? – спрашивает Марко с другого конца стола. – У тебя тоже передышка? В карьере тебя не видно. Может, нам тоже ноги камнями раздробить? А за нас пускай другие корячатся? – Голос у него недобрый.

– Какая там передышка, – отвечает Чезаре. – Я теперь в конторе работаю. – И разворачивает листок, что дал ему майор. На листке имена – одни напечатаны на машинке, другие приписаны от руки.

Все разглядывают листок.

– А это что?

– Зачем мое имя сюда вписали?

– Откуда у тебя наши имена?

Марко хватает листок.

– Что это? – допытывается он. – Ты дал наши имена майору Бейтсу?

– Да нет же! – Чезаре отбирает у него листок, разглаживает. – Это для другой работы, не в карьере. Это список тех, кто будет помогать в Керкуолле – на большом острове, через пролив. Им нужны люди, которым приходилось работать на ферме. Сажать, изгороди строить, за скотиной ухаживать.

Все, сдвинув головы, внимательно изучают листок. Марко отодвинул миску, Антонио неуверенно улыбается.

– То есть, – спрашивает он, – можно выбраться из каменоломни?

Чезаре кивает:

– Если охрану не злить, не нарываться. Ну что, – Чезаре оглядывает сидящих за столом, – кому из вас приходилось на ферме

работать?

– Мне!

– Я на ферме вырос!

– Я все заборы у нас дома строил, своими руками!

Чезаре с улыбкой подчеркивает имена.

– Эй! – слышен окрик. Еще один охранник, Маклауд, мерзкий тип – любит пускать в ход дубинку, а иногда бьет и ногами в сапогах. Говорят, кому-то из пленных он переломал ребра. – Эй, а это что?

Он подлетает, выхватывает из рук Чезаре листок, надорвав угол. Все умолкают, за соседними столами оглядываются.

– Это что? – повторяет Маклауд, свирепо глядя на Чезаре.

– Документ для майора Бейтса, – объясняет Чезаре. – Список тех, кто будет работать в Керкуолле.

– Да вижу – по-твоему, я читать не умею? Но у тебя-то он откуда?

– Я... я теперь в конторе работаю. Списки составляю, перевожу.

– Вот как? Не очень-то я доверяю перебежчикам.

Рядом вдруг вырастает сержант Хантер, грузный, хмурый, усталый.

– Дай сюда, Маклауд. – Взяв листок, Хантер кладет его на стол перед Чезаре. – Раскомандовался тут.

– Но...

– Без вопросов. Ты даже не в армии, а то бы где-нибудь воевал, а не шлепал тут со своим плоскостопием – или у тебя чахотка?

Маклауд, помрачнев, бормочет:

– Я не служу по этическим мотивам.

– С каких это пор?

Чезаре не совсем улавливает, о чем речь, но видит, как губы сержанта Хантера презрительно кривятся.

Когда оба охранника отходят в сторону, итальянцы подмигивают Чезаре, даже Марко ему улыбается.

Изредка он видит ее – замечает краем глаза рыжую вспышку и невольно оборачивается. Иногда это оказывается всего лишь алая метка на чьей-нибудь форме. Или ему просто чудится: оглянется он, а кругом лишь коричневые униформы и унылые лица товарищей, и в такие минуты все ему кажутся чужими.

А бывает, и вправду она. За оградой лагеря, смотрит сквозь колючую проволоку. Бледная, стоит, обхватив себя руками. Наверное, зябнет. Представив себя на ее месте, он и сам дрожит; будь под рукой чистый лист, он нарисовал бы контуры ее лица, линию подбородка, губы. Он рисует на полях списка, но в набросках нет жизни. Бездушные штрихи на бумаге из мертвых деревьев. Он все перечеркивает.

Он пока не знает, как подступиться к майору Бейтсу, спросить о починке крыши, – вдруг тот откажет? Он ждет подходящей минуты. Увидев у ограды лагеря ее, Доротею, – имя созвучно слову *adorare*, «боготворить», – он разводит руками: дескать, пока не получается, но я ищу способ.

Он смотрит ей вслед.

А вдруг, пугает его внезапная мысль, вдруг она неверно истолковала его жест? Вдруг для нее это значит «не знаю, чем вам помочь»? Или, того хуже, «мне все равно»?

Прошла уже неделя с того дня, как она приходила к майору, и каждый день Чезаре смотрит, как отплывает в Керкуолл весельная лодка с пленными. Возвращаются они уже в темноте, веселые, смеющиеся, голоса их звенят в ночи. Он представляет Доротею в лачуге с дырявой крышей. Слышит ли она ночные голоса? Слышит ли смех, когда смотрит с сестрой на звездное небо и ждет?

Однажды утром он принимает решение: в предрассветных сумерках встает с постели и идет в контору, ждать майора.

Чезаре все убрал с пола. Все бумаги в порядке, разложены в стопки.

Список итальянцев для работы в Керкуолле готов, готов и новый список работ.

Бесшумно заходит майор Бейтс и, увидев Чезаре, подсакивает от неожиданности.

– А-а, вы сегодня рано. Без меня вам здесь быть не положено. Но... Вы что – все эти бумаги разобрали? Боже! Должно быть, полночи провозились? Тогда я вас, пожалуй, прощаю. Как нога?

– Болит, но уже лучше. Спасибо.

– Хорошо, хорошо. Холод на улице собачий – рады, что вы не в карьере?

Чезаре улыбается в ответ майору, а на деле готов со стыда провалиться. Кое-кто над ним подтрунивает – нашел, мол, теплое местечко, – а Марко снова на него смотрит волком, в столовой оттирает из очереди. По ночам Чезаре не может уснуть, пока не услышит храп Марко.

И вот он берет листок, который положил с утра майору на стол.

– Вчера пришел корабль из Англии, еще продуктов привез. И не только. По-моему, слишком много.

Майор пробегает взглядом список.

– На кой черт нам столько досок? В карьере не нужно столько, отправим назад.

– Корабль уже уплыл.

– Для чего-нибудь да сгодятся. Но вот же черт, столько материала зря переводить!

– Думаю... – Чезаре, сглотнув, собирается с духом. Он видит перед собой ее лицо, представляет, как она отвернулась, когда он развел руками. В стекло барабанит град. – Думаю, доски нам пригодятся. Для той девушки, крышу чинить.

Майор Бейтс поднимает взгляд от бумаг. Чезаре краснеет до ушей.

– Холодно, и мне не нравится, что... – Чезаре кивает в сторону окна – на улице ветер, град, стекло заледенело.

– Согласен, ничего хорошего. Но лишних рабочих рук у нас нет...

– Я... можно я?

– Вы? Но вы мне здесь нужны. И нога у вас...

– Нога не болит. И... здесь я все сделал. – Чезаре обводит жестом опрятный кабинет, стопки бумаг.

Майор смотрит вокруг, вздыхает, чешет в затылке.

– Очень холодно, – говорит Чезаре. – Прошу вас.

Февраль 1942

Дороти

Кон все время кашляет, не дает мне спать. Когда у нее началась одышка и пропал аппетит, я думала, она прикидывается, привлекает к себе внимание – в детстве за ней такое водилось, а мама за это ее и бранила, и дразнила. «Мелочь пузатая требует внимания», – смеялись они с отцом, а Кон смотрела исподлобья.

Неделю назад, когда кашель у Кон усилился, я решила, что причина у нее в голове – она не в себе с тех пор, как затонул «Ройял Оук» и умер у нас на руках матрос. Но вскоре ее начало знобить и лихорадить.

Сейчас глаза у нее безжизненные, а жар такой, что я на расстоянии чувствую. В желудке у меня постоянно бурлит, и кажется, будто хворь уже переползла от Кон ко мне.

У нас на островах издавна верят, что души могут быть связаны друг с другом еще до рождения, и если повстречал родную душу, то непременно узнаешь. Мама нам говорила, что душу с кем попало не свяжешь, а мы друг другу родные души, потому что вместе росли, в этом и дело. А все прочее – глупости, сказки, из той же оперы, что, к примеру, кровная месть или кораблекрушения.

– И вы друг о друге должны заботиться, – говорила мама строго. – Смотрите у меня, я все вижу!

Прошел уже год с тех пор, как родители наши пропали без вести.

А теперь еще и Кон больна – серьезно больна, – и ясно, что нельзя сидеть сложа руки. Меня гложет тревога, места себе не нахожу. Вот уже неделю она кашляет по ночам, хрипит. Я сижу с нею рядом на кровати, вытираю ей пот со лба и шеи, вижу, как с каждым днем сильнее выпирают у нее ключицы. Когда обнимаю ее, чувствую, какая она хрупкая – ребра прощупываются, совсем истаяла.

– Надо в Керкуолл тебя отвезти, – бормочу я, – в больницу...

– Нет, – выдыхает Кон. Глаза ее лихорадочно блестят.

Сквозь дырявую крышу надо мной я вижу облака, их сменяет синее небо, потом звезды. Дни сливаются в один, теперь я отмеряю время по свисткам из лагеря, по крикам, что доносит ветер, по взрывам в карьере, от которых сотрясается земля, будто в судорогах.

Представляю, как он шагает к карьере. Помню его обещание: «Я вам помогу. Я попробую».

В хижине завывают сквозняки. По утрам парусина на окне хрустит от инея. Не придет он – с чего я взяла, что он придет?

Будит меня трель свистка. Кон совсем худо, губы бледные, кожа прозрачная. Сосчитав до пяти, заставляю себя встать, натянуть платье, открыть дверь, покормить кур, вскипятить воду для овсянки, к которой Кон все равно не притронется.

Надо самой плыть в Керкуолл, решаю я. В больнице лекарства наверняка найдутся, и если объясню, в чем дело, мне не откажут. Или удастся сюда привезти доктора – заплачу ему из тех денег, что остались от продажи дома в Керкуолле.

Снимаю с плитки овсянку и ставлю на стол остудить. Пусть Кон еще поспит, а потом скажу ей, что ухожу.

С улицы слышен лязг, потом стук в дверь. Я вздрагиваю. Кон не шевелится.

Открываю дверь, готовясь выставить Энгуса вон.

А на пороге – он.

Че-за-ре.

– Доротея, – говорит он.

Лицо у него серьезное, взволнованное, и на миг закрадывается подозрение: вдруг он сбежал из лагеря, пришел сюда прятаться? Или он умер и передо мной его дух? Значит, даром в Керкуолле говорят, что над этим островом тяготеет проклятие?

Порываюсь захлопнуть дверь у него перед носом.

– Стойте! – Он просовывает в дверную щель носок ботинка. Дверь не закрылась до конца – значит, не призрак. – Не бойтесь, – говорит он.

– Что вы здесь делаете? Как вы сюда попали?

– Майор отпустил. Крышу починять. – Задрал голову, он показывает на дыру, сквозь которую виден клочок пасмурного неба.

Открыв дверь, выглядываю на улицу. За спиной у него тачка, доверху груженная досками и шифером.

– Я обещал, – говорит он.

– Ах да. – Я не нахожу что еще сказать.

Выхожу за ним следом во двор, освещенный тусклым зимним солнцем, поеживаюсь на холодном ветру. Чезаре принимается разгружать тележку. Плечи у него широкие, но он заметно исхудал; начинает он бодро, но вскоре вынужден прерваться, отдышаться.

– В Италии был сильный, – поясняет он, будто угадав мои мысли. – А здесь, – ежась на ветру, он указывает на небо и пожимает плечами, – тяжело быть сильным. – Потом замирает, смотрит на меня. – Вы здесь одна? Здесь опасно. Холодно.

– С сестрой. Нам здесь нравится.

Он кивает. Глаза у него темные, ласковые, загадочные.

– Здесь очень красиво.

Чувствую, как кровь прихлынула к щекам. Отвожу взгляд.

– Сестра у меня болеет. Она сейчас спит. Я... – К моему ужасу, глаза щиплет от слез, в горле жжет. Я часто-часто моргаю, загоняю слезы внутрь.

Чезаре тянется мне навстречу, будто хочет коснуться руки, но на полпути останавливается.

– Я вам починю крышу, – говорит он. – Ваша сестра поправится. Ей будет тепло.

Я сглатываю.

– Спасибо.

Глянув вверх, на крышу, он начинает подбирать доски по размеру, прикидывая взглядом, подойдут ли.

– Надо лезть наверх.

– Лестницы у нас нет, но если встать сюда... – Веду его за дом, где в деревянной клетке возятся три курицы. – Выдержит?

Чезаре разглядывает птичник, пробует на прочность деревянный каркас.

– То ли выдержит, то ли нет, – делает он вывод, явно не боясь сломать ногу или шею.

Он поднимает клетку, и куры, оставшись без крыши над головой, возмущенно кудахчут, льнут к подстилке. Чезаре сгребает в охапку

одну из куриц, прижимает к себе. Курица негодуяюще квохчет, но на волю не рвется.

– Теплая, – говорит Чезаре.

– Ее зовут Генриетта.

– Эн-ри-ет-та, – отзывается эхом Чезаре, и опять голос его звучит как музыка. – Вы продаете яйца, только этим и зарабатываете? – Он выпускает Генриетту, и та семенит прочь с сердитым кудактаньем.

– Нет. У родителей в Керкуолле был дом. Мы его продали и перебрались сюда, с тех пор как они... («Уплыли. Пропали. Исчезли».) То есть не сразу. – В Керкуолле мы прожили три месяца, а потом пришлось уехать. Я собираюсь с духом. – И я подрабатываю в Керкуолле, в больнице. («Вернее, буду подрабатывать, когда смогу спокойно оставить Кон».)

– Вы врач? – Он смотрит на меня серьезно, без тени насмешки.

– Может быть, когда-нибудь стану врачом. А пока мы здесь, работаю медсестрой. Иногда.

– И ваша сестра больна, – говорит Чезаре. – И крыша сломана.

Он не спрашивает, почему мы здесь, на этом диком острове, почему не обратились в больницу, а просто ставит вплотную к стене клеть и, вскарабкавшись на нее, лезет на крышу – и меня переполняет благодарность.

Птичник кренится, и я придерживаю его, чтобы не рухнул. Чезаре, сверкнув улыбкой, перебирается на крышу, подползает к дыре.

– Осторожно! – кричу я.

Чезаре, кивнув, продвигается дальше. Заглядывает в дыру, прикидывая размеры. Вытянув шею, смотрит вниз.

Сейчас он увидит нашу единственную комнату, где в углу на широкой кровати, сжавшись в комок, спит Кон. Увидит газовую плитку, исцарапанный стол, стены в пятнах от сырости, вспученные половицы.

Стою, переминаясь с ноги на ногу; так и хочется крикнуть: слезайте, нечего глазеть на чужие вещи, на *наши* вещи!

Чезаре отползает к краю крыши, лицо у него печальное.

– Спит, – шепчет он.

– Да.

– Такая худая.

– Да. – И снова ком в горле.

– Будете мне доски подавать? Тяжелые.

Кивнув, протягиваю ему доску, другую. Руки чуть дрожат, но стараюсь держать доски крепко. Чезаре двигается по крыше легко и бесстрашно, ну а я каждую минуту представляю, как он упадет, разобьется.

Доски он стелет поверх парусины, что всю зиму полоскалась на ветру, и толку от нее не было никакого. Стелет он бережно, аккуратно. Изредка заглядывает в дыру, смотрит на Кон, потом на меня и кивает – мол, не разбудил.

Взявшись за последнюю доску, он вдруг вскрикивает как от испуга.

Снизу, из хижины, несется визг.

Чезаре пытается слезть с крыши и, поскользнувшись, съезжает вниз, не в силах удержаться ни руками, ни ногами. Скатывается на самый край. Хватается за лист шифера, рука срывается.

Секунду он болтается на краю. И с тошнотворным глухим звуком падает к моим ногам.

Чезаре

Удар сотрясает все тело. В первый миг ему совсем не больно, но когда он пытается встать, в голове стреляет, как если бы током ударило.

Тут же подлетает Доротея и, подхватив его под руку, помогает приподняться.

– Слышите меня? Где больно?

Чезаре, кивнув, осторожно касается лба ладонью. Мокро. Подносит ладонь к глазам – кровь.

Откуда-то несется визг, и сперва он ничего не понимает. На пороге стоит рыжеволосая девушка, зажав ладонями рот. Как так может быть – Доротея ведь рядом, держит его за руку, а другая Доротея стоит в стороне, смотрит полными ужаса глазами и визжит? Видно, от удара у него что-то повредилось в мозгу, вот в глазах и двоится?

– Тише, Кон! – шикает Доротея, и вторая девушка умолкает.

Ах да, это же ее сестра, которая лежит больная.

Она по-прежнему в ужасе смотрит на Чезаре, и он, подняв руки, показывает раскрытые ладони в знак того, что не причинит ей вреда, но она отшатывается – ладони у него в крови, и, *Mio Dio*^[4], в голове шумит, будто кузнечные мехи раздувают.

– *Scusi*, – бормочет он, забыв английское слово. – *Scusi*.

– Стоять можете? – спрашивает Доротея, и он, с усилием кивнув, следует за ней в тесную хижину, где ненамного теплее, чем на улице, хоть в очаге и тлеет огонек.

Чезаре пытается возражать – он, дескать, чувствует себя хорошо и, ей-богу, не хочет их стеснять, сейчас же вернется в лагерь.

Но Доротея, взяв платок и кувшин с водой, промокает ему лоб.

Чезаре скрипит зубами, преодолевая боль, а Доротея бережно протирает ему лицо. Взгляд ее выражает глубокую сосредоточенность. Она наклоняется к самому его лицу, и видно, какие нежные у нее веки, точь-в-точь лепестки белой розы. Щекой он чувствует ее дыхание. И пахнет от нее чем-то нежным, сладким – вспоминаются груши у них в саду в Моэне.

Чезаре сглатывает.

– *Grazie*, – бормочет он и лишь потом вспоминает английское слово. – Спасибо.

– Откуда он тут взялся? – спрашивает Кон. – Он за мной подглядывал, с крыши...

– Не подглядывал, а крышу чинил, – отвечает Доротея, не глядя на сестру. И обращается к Чезаре: – Не так все плохо, как я думала. Раны на голове, бывает, сильно кровоточат. Вот, приложите платок. Где-нибудь еще больно? Можете пошевелить пальцами на руках, на ногах?

Голос у нее бодрый, руки уверенные и в то же время ласковые. Чезаре по ее просьбе двигает пальцами, сгибает руки, ноги, встает, потягивается – и тут в бок стреляет.

Чезаре со стоном хватается за больное место.

Доротея спрашивает:

– Можно взглянуть?

Чезаре кивает.

Доротея осторожно задирает ему рубашку. Прохладные пальцы прикасаются к коже, и Чезаре замирает, по телу бегут мурашки. Доротея надавливает по очереди на каждое из ребер, а сама следит за его лицом.

– Это все старые синяки?

Чезаре кивает, вспоминая карьер. Удар кулаком в грудь, дубинкой по спине, тычок прикладом под ребра.

– Больно? – спрашивает Доротея, касаясь кровоподтеков.

Чезаре мотает головой. Лицо и шея пылают. Он смотрит, как она, закусив губу, сосредоточенно ощупывает свежий лиловый синяк. Больно. Чезаре стоит не шелохнувшись, только бы она подольше не убирала руку.

– Кажется, сильный ушиб, – бормочет она и, откашлявшись, продолжает уже громче: – Все ребра целы. И кровь из головы уже почти не течет. – Она взглядом указывает на платок.

Кон, сидя на постели, не сводит с них глаз. Лицо ее непроницаемо, но лоб блестит испариной, на щеках нездоровый румянец. Она кашляет.

– Лекарства у вас есть? – спрашивает Чезаре.

Кон смотрит на него с опаской и качает головой.

Доротея вздыхает:

– Я в Керкуолл собиралась, в больницу, но...

– Керкуолл далеко, – говорит Чезаре. И обращается к Дот: – Не надо в Керкуолл. Здесь есть больница...

– Для пленных, – уточняет Кон.

Чезаре разводит руками.

– Я пленный. Мне дадут лекарства.

На его глазах лицо Кон расцветает улыбкой, а следом и лицо Доротеи. И тут, столько времени спустя после первой встречи, он понимает, почему их путают.

– Спасибо, – отвечают они хором.

И Доротея слегка касается его рукава.

– Спасибо, – шепчет она чуть слышно.

Чезаре кивает, позабыв на миг и про шум в голове, и про боль в боку. И про холод, и про то, что одет он в форму. Ему все равно, где он, лишь бы эта девушка ему улыбалась, лишь бы чувствовать сквозь рукав тепло ее ладони.

На подходе к лагерю он не замечает ни колючей проволоки, ни жестяных стен барачных, ни пыльного, без единой травинки, пустыря. Снова и снова вспоминает он тепло ее дыхания, уголки губ,

приподнятые в улыбке, легкое прикосновение руки и шепот: «Спасибо».

И у ворот, когда перед ним вырастает хмурый часовой, Чезаре вздрагивает от неожиданности.

– Ты где шлялся? Кто тебя отпустил?

– Я... майор Бейтс разрешил починить крышу девушкам.

– Каким таким девушкам? – Часовой стоит с дубинкой наперевес, и Чезаре вдруг понимает, что во дворе они одни. Охранник может с ним сделать все что угодно, свидетелей не будет.

Маклауд. Неожиданно всплывает фамилия, и Чезаре захлестывает гнев, как тогда, в столовой, когда тот выхватил у него листок с именами.

Чезаре никнет головой.

– Девушки живут на холме. Дом у них старый. Крыша сломана. Майор Бейтс меня отпустил...

– Майор Бейтс? Майор Бейтс, наверное, не знает, что ты мне нужен в каменоломне? Скажу ему. – Маклауд хмурит брови. – Где башку расшиб?

– Упал, – объясняет Чезаре. – Но... Мне надо крышу чинить и...

– Делай, как я сказал. Жду после обеда в карьере.

– Но...

– Никаких «но»! – Маклауд подается вперед, к самому лицу Чезаре, и Чезаре, ничего не видя, кроме его глаз, знает, что в руке у охранника дубинка, чувствует, как Маклауд весь подобрался, словно охотничий пес, почуявший зайца.

Чезаре замирает.

– Девушка... как ее зовут, Кон? Она больна. Я... обещал ей лекарство.

Брови часового ползут вверх.

– Кон больна? Ну так я ей достану лекарство. И сам отнесу.

Маклауд улыбается лениво, без теплоты. Чезаре вспоминается лязг лопат о камни в карьере, грубые окрики охранников, вспоминается чувство сразу после удара дубинкой, когда ждешь боли, но не знаешь, насколько сильной она будет.

Под взглядом часового Чезаре, развернувшись, идет в столовую; плечи его поникли, а внутри клокочет ледяной гнев.

Я соскребаю ложкой со дна кастрюли пригоревшую овсянку и сквозь голос Кон прислушиваюсь, не донесутся ли шаги, стук в дверь, – это значит, что Чезаре вернулся, Кон спасена и мне не придется оставлять ее одну и плыть в Керкуолл.

Впервые на моей памяти она так ослабела. Из нас двоих она всегда была сильнее, увереннее, всегда решала, как нам поступать. Это она уговорила меня перебраться сюда, на остров. Помню, как мы с ней перевозили в лодке раненых с «Ройял Оука» в укромную бухточку, где никому из Керкуолла нас не найти. Помню ужас в ее глазах, когда она прижимала пальто к лицу того умирающего. Помню, как она ходила молчаливая, испуганная, будто сама не верила, что сотворила такое.

А теперь она кашляет, сипит и еле держится на ногах. Я то и дело выглядываю в окно, не идет ли Чезаре.

Но прошел уже не один час, солнце почти закатилось, а Чезаре все нет.

– Я же тебе говорила, – начинает Кон. – Говорила, не надейся. Я и без лекарств поправлюсь, ни к чему тебе плыть в Керкуолл. – Она снова заходится кашлем.

Овсянка пришкварилась ко дну кастрюли, превратилась в черное месиво. Сердито вздохнув, бросаю посудину в таз. Кон вздрагивает, давится кашлем.

– Прости, – говорю я. Подбегаю к ней, глажу по спине, протираю влажной губкой лоб.

Когда приступ кашля стихает, я подхожу к окну и, отдернув парусину, выглядываю на улицу. Огни в лагере еще светятся, мелькают тени людей, но близок час затемнения, и лагерь вот-вот погрузится во мрак. И опять ночь напролет надо лежать в темноте, считать хриплые вдохи Кон, держать ее за руку, когда она кашляет, гладить по голове, пока она не уснет.

Час спустя в дверь тихонько стучат – осторожно, будто Чезаре боится нас разбудить.

Слава тебе господи! Бросаюсь к двери, распахиваю настежь.

На пороге Энгус Маклауд.

– Здравствуй, Дот. – Он с улыбкой протягивает пузырек темного стекла. – Я слышал, Кон заболела.

– Зачем пожаловал? – Я выхожу на холод, оставив дверь приоткрытой. – И как ты...

– Говорю же, – он по-прежнему улыбается, будто не замечая моего гнева, – лекарство принес для Кон. Впустишь меня?

– Не впусчу. – Я притворяю дверь, оставив узкую щелку. Налетает ветер, хоть бы он заглушил его голос.

– Эх, жалость-то какая! Значит, не возьмешь лекарство? – Он прячет пузырек в карман. За поясом у него черная дубинка. И пистолет, поблескивает в неверном свете лагерных огней.

– Я... – Мысли путаются. – Кон нужно лекарство.

– Так позволь, я ей занесу. – Он протискивается мимо меня к двери.

Заслонив собой дверную ручку, молюсь про себя, чтобы Кон нас не услышала.

– Э-э... Спасибо, Энгус. Но, видишь ли, она спит.

Он смотрит на меня, затем нехотя кивает.

– Да, пусть отдыхает.

Протягиваю руку за лекарством и повторяю:

– Спасибо, Энгус.

Он, чуть помедлив, вкладывает коричневый пузырек мне в ладонь.

– Здесь таблетки, сульфаниламиды, сестра сказала.

– Спасибо. Как их принимать?

– Там их четыре. По одной через каждые шесть часов.

– Но... четырех ведь не хватит?

– Завтра еще принесу. Может, тогда удастся ее повидать?

Во рту у меня пересохло. Сунуть бы ему обратно пузырек, хлопнуть дверью и запереться на ключ.

– А еще, – добавляет Энгус, – слышал я, крыша у вас прохудилась, заделать надо. Могу хоть завтра.

– Но... Один пленный уже вызвался чинить.

– А-а, этот? Да ну его! Лучше с ним не связывайтесь, с этим бузотером. Я его отправил обратно в карьер, пускай вкалывает. – Энгус ухмыляется.

– Я думала... Он же у начальника в конторе работал?

– Да, но я переговорил с майором Бейтсом, сказал, что мне он нужен в каменоломне. Говорю ему: слыханное ли дело, пленного оставлять наедине с двумя беззащитными девушками? Нечего, говорю, вас пугать. – На лице у него неподдельная забота.

Машинально слушаю и вспоминаю пожелтевшие кровоподтеки на боках и на груди у Чезаре. Представляю, как Энгус карабкается на крышу, глазет на спящую Кон.

– Завтра с утра, как бригаду в карьер отправлю, загляну к вам. Крышу починю, принесу еще таблеток для Кон. Я о вас позабочусь, не волнуйся, – говорит Энгус.

Смотрит на меня во все глаза, лицо серьезное.

– А где «спасибо»? – Он поднимает брови.

Я судорожно вздыхаю и в третий раз говорю шепотом:

– Спасибо.

Потом, хлопнув дверью, лязгаю засовом, прислоняюсь к двери спиной.

Кон, дремавшая на кровати, поворачивается с боку на бок, вздрагивает, садится.

– Что с тобой? – спрашивает она хрипло. – Вид у тебя, будто тебе призрак явился.

– Ничего. – Разжав кулак, встряхиваю пузырек, в нем гремят четыре таблетки. – Все хорошо. Сейчас воды тебе принесу.

– Что случилось? – сипит Кон. – Тебя обидел Чезаре?

– Все хорошо, – повторяю я бодро. – Все будет хорошо.

Пока она пьет, я глажу ее по волосам, глядя, как напрягается у нее шея, и стараюсь не встречаться с ней взглядом, надеюсь, что она на меня не посмотрит, не поймет по моему лицу, что я ей солгала – впервые в жизни.

Ночь долгая, тьма кажется черной, как ил. Рядом кашляет и ворочается Кон, и от нее исходит такой жар, что я даже рада сквозняку из дыры в потолке, через которую виден клочок неба.

К утру ей не лучше, но и не хуже. Проследив, чтобы сестра выпила еще таблетку, отдергиваю парусину и смотрю в окно.

Сквозь низкие облака сочится тусклый свет, лагерь до сих пор погружен в сон и безмолвие – свисток еще не раздался.

Энгус обещал прийти, когда отведет в карьер свою бригаду.

«Я о вас позабочусь».

И тут я понимаю, что это выше моих сил – смотреть, как Энгус разговаривает с Кон. Видеть ее ужас, терпеть его притворное участие. Смотреть, как Энгус весело чинит крышу, словно не замечая, что Кон дрожит от страха, и не чувствуя моего гнева.

– Хватит у тебя сил дойти до лагеря? – спрашиваю я.

Кон отставляет кружку с водой:

– Что?

– Сможешь дойти до лазарета?

Кон мотает головой:

– Не хочу. Хочу здесь остаться.

– Нельзя тебе тут оставаться. Тебе нужно тепло, лекарства и...

– Лекарство у меня теперь есть. Тот пленный, Чезаре, он...

– Тебе не хватит. – Я беру ее за руку. – В лазарете еще дадут.

– Но... он же обещал еще принести.

– Обещал...

– Значит, никуда не пойду. Не пойду, Дот. Чезаре еще принесет, и...

Закрыв глаза, массирую веки.

– Это не он принес. Не Чезаре.

– Что?

– Это Энгус принес.

– Энгус? – Кон цепенеет, будто он здесь, в комнате, окликнул ее, прикоснулся к ней.

Снова сжимаю ей руку, помогаю опомниться.

– Он обещал вернуться, крышу чинить.

Кон смертельно бледнеет, выдыхает с присвистом. Обняв ее, я чувствую, как она напряглась.

– Прости, – шепчу, зарывшись ей в макушку. – Но если доберемся до лагеря, мы там будем на людях – все время. Там он тебя не тронет. Там охрана, медсестры...

– Не хочу я туда. Неужели ты меня там бросишь?

– Тсс, я тебя не брошу. Я уже все обдумала – я тоже останусь, медсестрой...

– А тебе разрешат?

– Думаю, да, – отвечаю я. (На самом деле я надеюсь, что разрешат.)

– Но Энгус...

– Я его к тебе и близко не подпущу.

Кон вздрагивает, потом кивает.

– Ты ведь меня не бросишь?

Целую ее в пышущую жаром щеку.

– Обещаю. Не брошу.

Дождавшись свистка, который раздается в лагере, мы смотрим, как тянется к карьеру вереница людей. Тенями плывут они сквозь туман и исчезают вдаль, за холмом. На таком расстоянии не скажешь, где кто, неизвестно, кто из этих серых призраков Энгус с дубинкой и пистолетом за поясом. И кто из них Чезаре. В предрассветном сумраке все они кажутся бесплотными – словно подтвердились слухи о здешних привидениях, ожили древние легенды о проклятиях.

Едва они исчезают, мы отправляемся в лагерь; я поддерживаю Кон, обняв за плечи, и чувствую, как она сотрясается в мучительном кашле.

Часовой возле лагерных ворот, смерив нас взглядом, отступает в сторону. Видно, испугался, когда мы выходили из тумана. Не иначе как местных баек наслушался.

Тихонько стучусь к майору Бейтсу, потом еще раз, громче, сбивая костяшки чуть ли не до синяков. Никто не отзывается, и я, пинком открыв дверь, толкаю за порог Кон.

Майор Бейтс, сидя за письменным столом, смотрит на нас сердито:

– Какого черта?

– Она больна, – начинаю я.

– Ну и зачем ее сюда привели? Везите ее в Керкуолл, в больницу, ради всего святого.

– Не могу. Мы... Нельзя ей на лодке плыть, слишком она слаба, – говорю я, и вранье звучит убедительно. – Вот я и привела ее сюда, в лазарет.

– К мужчинам? Вы в своем уме? Здесь больница для пленных, а не для всех подряд.

– Да, но... (Как же его убедить? Лицо непроницаемо, в мыслях он уже нам отказал и рвется скорей вернуться к своим бумагам.) Ну пожалуйста, – умоляю я. – Давайте я с ней останусь...

– Вас обеих оставить в лагере? Я же ответил – вы что, не слышали? Нет, отправляйтесь в Керкуолл. – Взяв ручку, он вновь смотрит на листок с рядом цифр и хмурится.

– Я... я медсестра, – говорю я. – Точнее, работала одно время в Керкуолле медсестрой. И здесь я могла бы пригодиться. У вас ведь медсестер не хватает.

– К нам приходит девушка из Керкуолла...

– Бесс Крой. Я ее здесь видела. Видела, как она в лагерь ходит. Но не может же она круглые сутки работать, а других девушек из Керкуолла сюда не заманишь. А лагерь большой – вдруг эпидемия, что тогда? Я могу... – Майор смотрит косо, но я продолжаю: – Могу остаться в лагере медсестрой, а когда Кон поправится, я... или мы обе будем в лазарете помогать.

Майор откладывает ручку:

– Вы обе медсестры?

Я киваю. Это неправда, но Кон все на лету схватывает. Только бы она молчала, не встревала. Стискиваю ее руку изо всех сил, и наконец она кивает. На щеках у нее багровые пятна, глаза лихорадочно блестят.

– Надо закуток ей отгородить, пока болеет, – говорит майор. – Нечего сразу разводить, да и... ради приличия. И работать придется за троих. У нас тут много пострадавших из каменоломни.

– Спасибо.

Майор уже снова уткнулся в бумаги.

– Что ж, хорошо, ступайте. Сестра Крой вам поможет устроиться.

Бесс Крой при виде нас округляет глаза. Готовя за занавеской постель для Кон и принося таблетки, она суетится, точно боится, как бы мы ее не растерзали. Когда мы меняем больным простыни, она ненароком касается моей руки и отшатывается.

– Прости, прости, – вздыхает она, потирая ладонь, будто обожглась о мою руку.

Когда Кон засыпает, я помогаю Бесс выносить утки, поить больных, одному перевязываю вывихнутое запястье, другому – раздробленную ступню. Бесс мало-помалу успокаивается. В обед она приносит из столовой две миски супа и молча ставит одну передо мной. Ест Бесс торопливо, поглядывая на меня с опаской, по-птичьи.

– Спасибо, – говорю я, вымакав кусочком хлеба все до капли. И продолжаю сматывать бинты. Любо-дорого посмотреть, как из

неопрятной груды марли получают тугие белоснежные рулончики.

– Не за что. – Взяв миски, она идет к выходу, но останавливается. И, не глядя на меня, спрашивает: – И как вы здесь живете?

– Прости, что?

Она так и стоит ко мне спиной.

– Здесь, на острове. Здесь так... страшно. Все эти слухи. Но вы-то здесь живете. Как?

– Ну... Слухи слухами... – Так и тянет съязвить, как на моем месте съязвила бы Кон, мол, легко жить на проклятом острове, если сама ты проклята.

Но Бесс поворачивается ко мне, и лицо у нее совсем детское, незащитное, а в руках моя миска из-под супа. И повязки больным она меняет так заботливо. Она достойна честного ответа.

– Страшновато было, – отвечаю я, – на первых порах. Но здесь, на острове, не так уж плохо. А в Керкуолле... – Развожу руками, потом разглаживаю последний скрученный бинт и кладу к остальным. – После всего, что случилось...

– Понятно, что вы решили уехать. Но почему именно сюда?

– А ты бы уехала с наших островов?

Бесс качает головой:

– Ни за что.

– Даже если бы у тебя родные без вести пропали? Все разом?

Бесс округляет глаза, будто ей почудилась в моих словах угроза или проклятие, хоть у меня ничего подобного и в мыслях не было.

– Тем более не уехала бы, – отвечает она чуть слышно.

Отложив бинты и смахнув с юбки нитки от марли, смотрю в пол, считаю секунды, собираюсь с силами для ответа.

– Видишь ли... не могли мы уехать. В начале войны я думала на юг податься. А когда родители... пропали... хотела записаться в женскую службу ВМС. Но Кон ни в какую – остаемся, да и все. Ей хотелось быть подальше от людей. Потому что... – Закрыв глаза, вспоминаю, как родители отталкивали лодку от берега, все дальше и дальше от Кон, а Кон шагала взад-вперед, ждала их возвращения; вспоминаю мрачные недели, когда Кон от меня пряталась, стыдясь показаться на глаза; вспоминаю ту ночь, когда она вернулась так поздно, что я уснула, не дождавшись ее; вспоминаю косые взгляды, пересуды, ее желание забиться куда-нибудь подальше.

Открыв глаза, вижу Бесс как сквозь туман. Она протягивает мне платок, я вытираю лицо. Вижу, как дернулся у нее подбородок.

– Нет, совсем не помог нам переезд. Все несчастья за нами сюда потянулись, да еще и новых прибавилось. Видно, и впрямь нас кто-то проклял. – У меня вырывается смешок. – Или место тут гиблое. – Легкомысленный тон мне не удастся. Я вымученно улыбаюсь, и Бесс улыбается в ответ. И тут я замечаю, что она смотрит на мои руки, и сжимаю кулаки, чтобы скрыть дрожь.

– Страшно? – спрашиваю я.

– Да, – шепчет Бесс.

– И мне страшно.

А за спиной у нас, за занавеской, спит Кон, и в груди у нее что-то клокочет при каждом вдохе.

Бесс кивком указывает на занавеску:

– Посиди с ней, если хочешь. Вид у тебя изможденный. Когда ты в последний раз спала по-человечески?

– Честное слово, не помню.

– С бинтами я сама управлюсь.

Я стою и моргаю, от ее доброты к глазам подступают жгучие слезы.

– Спасибо, – отвечаю я.

Мне снится, что я плаваю в море вместе с родителями и Кон, хотя на самом деле отец так толком плавать и не научился. Руками взрезаю воду, выныриваю, зову маму.

– Подожди, кое-что скажу, – кричу я.

Мама оборачивается, улыбается – вылитая я, вылитая Кон, только старше. Где она, там тепло и безопасность, только бы ее догнать, удержать, пока не уплыла. Но она отворачивается и, словно тюлень, ныряет в темную глубину.

Протягиваю руку, хватаю ее за волосы. Тяну, зная, что причиняю ей боль. Вытаскиваю ее за волосы из воды, и нестерпимо хочется коснуться ее лица, рассказать ей обо всем, что с нами случилось.

Подношу руки к свету – в кулаке у меня всего лишь пучок морской травы, и тот исчезает. В ушах звенит стон, мамин голос, и я знаю, что она где-то далеко, страдает, кричит от боли.

Охнув, просыпаюсь и не сразу понимаю, где я. Точно не в хижине, здесь тепло и кровать совсем тесная. И тут вспоминаю: лазарет.

Оказывается, я уснула, свернувшись клубочком рядом с Кон, мы лежим вдвоем на узкой койке. А разбудил меня окрик Энгуса Маклауда, его голос я узнаю из тысячи.

– Где они? Здесь?

Сон как рукой сняло, я вся словно сжатая пружина. Кровать отгорожена занавеской, с порога он нас не увидит, но занавеску запросто может отдернуть.

Голос Бесс:

– Не понимаю, какие такие они.

– Девчонки, близняшки. Приходили они сюда?

Молчание. А потом:

– Я их точно не видела. Здесь у нас одни больные. – Бесс лжет недрогнувшим голосом.

Я жду, затаив дыхание, крепко прижавшись к Кон. Она ворочается, но не просыпается. Жар еще есть, но постепенно спадает.

Голос Энгуса:

– Надеюсь, вы мне не врете, мисс...

– А я надеюсь, вы мне не угрожаете. Или я майору Бейтсу пожалуюсь. Расскажу ему, что вы тут шляетесь, беспокоите больных, мешаете им спать, набираться сил. А сейчас, – голос Бесс дрожит, – меня работа ждет, уходите, пожалуйста.

И я слышу ее шаги, а следом – его шаги, медленные, тяжелые, скрип двери и то, как Бесс говорит:

– И не вздумайте больше нас беспокоить.

Дверь за Энгусом захлопывается, я жду.

За занавеску заглядывает Бесс.

– Спасибо, – шепчу я, – спасибо.

Коротко кивнув, она уходит, стуча каблучками.

Припав щекой к пышущей жаром груди Кон, я прислушиваюсь к ее мерному дыханию – хрипы почти сошли на нет. И, положив руку себе на грудь, я молюсь, чтобы сердца наши бились в едином ритме.

Неделя-другая – и Кон понемногу выздоравливает, жизнь более-менее входит в колею. Встаем мы, медсестры, с утренним свистком, а спать ложимся ближе к полуночи. Работы невпроворот: промываем

раны, меняем белье, разносим еду и воду, порошки и пилюли. Мы выбиваемся из сил – и Бесс, и я, и еще одна медсестра из Керкуолла, Энн. Она говорит мало, а иногда плачет, потому что наслушалась всяких ужасов; боится пленных, нападения Германии и думает, что всех, кто живет на этом острове, ждет гибель. Страхам Энн нет конца, зато Бесс, насмотревшись на нее, стала со мной откровеннее, разговорчивей.

Целых шесть дней Бесс удаётся скрывать от Энгуса Маклауда, что мы с Кон здесь, в лазарете, а когда он узнаёт правду, она держит слово – жалуется майору Бейтсу, что Энгус нам мешает и в лазарет его пускать нельзя.

– Пленные говорят, он руки распускает, – шепчет она мне.

Я киваю, вспомнив синяки Цезаре. Где же он сейчас? Надеюсь, там же, у майора в конторе, среди бумаг. В тепле и безопасности.

Иногда я смотрю в больничное окно во время утренней переключки и вижу, как строятся узники, пошатываясь от недосыпа. Заправляю постели и вглядываюсь в длинные шеренги людей в коричневой униформе, высматриваю его. Но сквозь мутное стекло все они кажутся на одно лицо – худые, сутулые, сломленные. Голод их старит, гнет им спины, делает нетвердой походку. Когда их привезли на остров, до нас с Кон частенько долетали обрывки песен, а сейчас песен не слышно, лишь окрики охранников.

Жар у Кон спал, к ней возвращается аппетит. Первое время она относится к Бесс с опаской, но постепенно оттаивает. Теперь она отвечает на робкие улыбки Бесс, благодарит ее за хлеб, за рагу, за воду.

А однажды, спустя две недели, я слышу из-за занавески смех – это Бесс и Кон вместе скручивают бинты. Смотрю, как они секретничают, сдвинув головы, и чувствую укол ревности.

Кон оглядывается, замечает меня; лицо у нее сияет. Как в прежние времена, до того, как затонул «Ройял Оук». Нет, не совсем так – до того, как мы решили покинуть Керкуолл.

– Посмотреть на тебя, Дот, кожа да кости, – заявляет она. – Тебе не к лицу.

Подсаживаюсь к ней на край кровати.

– Кто бы говорил! – И тычу пальцем в ее торчащую ключицу.

– Сиделка меня голодом морит, – улыбается она.

– С такой подопечной, как ты, я совсем с ног сбилась.

Хорошо вот так по-доброму подтрунивать друг над другом, совсем как раньше.

Помолчав, Кон говорит:

– Хочу остаться в лазарете. Медсестрой.

Обняв ее, узнаю за внешней хрупкостью прежнюю Кон, сильную, она будто сбросила маску и вновь стала собой. Так раскрываются створки раковины, а внутри жемчужина.

Чезаре

Чезаре яростно орудует лопатой, слыша, как лязгает она о камни, но ничто не в силах унять его злость. Вот уже три недели, как Маклауд снова отправил его в карьер, и хоть Чезаре дважды посылали в контору по мелочам, майор Бейтс не спешит ему доверить работу с документами. Не иначе как охранник его оговорил. Когда Чезаре просится отпустить его доделать крышу в хижине сестер, майор качает головой:

– Крышу уже починили. Один из охранников. Да и девушки больше там не живут.

– Куда они делись, где теперь живут? – спрашивает Чезаре, не успев одернуть себя.

Майор Бейтс, отложив ручку, хмурится.

– Я что, докладывать вам обязан? – Тон у него ледяной, лицо замкнутое – как видно, Чезаре своим поведением невольно подтвердил ложь Маклауда, что он ненадежен, опасен.

И Чезаре, сжав губы, пожимает плечами. Эта тупая покорность, видимо, убеждает майора, что Чезаре не причинит девушкам вреда, но Чезаре по-прежнему отправляют в карьер.

День за днем взрывают они породу, добывают камень, ссыпают сначала в тачки, потом в кузов грузовика. Грузовик держит путь на побережье, где другая бригада наполнит обломками проволочные клетки, подцепит их стрелой подъемного крана и сбросит в море. Вода скроет камни, и все начнется сызнова. И так без конца, каждый божий день. Море остается прежним, стена все еще не показывается над водой. Это все равно что кидать монеты в колодец.

Ребята вначале посмеиваются, будто это все делается в шутку. Смотрят, как исчезают в пучине камни, и один – ученый венецианец – вспоминает миф о Сизифе, обреченном катить в гору камень, который раз за разом срывался вниз.

Но спустя почти два месяца каторжного труда, мучительного голода и тягот всем уже не до смеха. Как в самом начале, узники шепчутся, мол, незаконно это, заставляя их строить вражеские укрепления. Доминго, ученый венецианец, уверяет, что это противоречит Женевской конвенции.

– Бросаем лопаты, отказываемся работать на этих свиней, – говорит Доминго, когда пленные меряются синяками.

Ползут слухи о бунте.

– Попадись он тебе в темном переулке, что бы ты с ним сделал? – Джино кивком указывает на Маклауда, который наблюдает за работами в каменоломне, покрикивая и грозя дубинкой.

– Не знаю. – С силой вонзив в землю лопату, Чезаре представляет, как лезвие входит в человеческую плоть. Рваная рана, фонтан крови. Он трясет головой, чтобы избавиться от наваждения. – Подкати-ка поближе тачку.

Холодный день на исходе февраля, задувает лютый северный ветер. Почти неделю Джино работает бок о бок с Чезаре, вселяя в него спокойствие и уверенность, но на морозе оба еле ползают. Свинцовая усталость сковывает пленных, лопата валится из рук, в груди ноет; впервые в жизни с Чезаре творится подобное. А при мысли о Маклауде его всякий раз захлестывает страх пополам с яростью... Он орудует лопатой, изо рта вырываются облачка пара.

Ему чудится замирающий вскрик, хриплое дыхание, рвущееся из горла, когда душат человека.

Чезаре опять трясет головой.

– Не знаю, – вновь отвечает он Джино.

Сегодня утром во дворе, во время переклички, Чезаре привиделись ее волосы. Яркая вспышка в чередке серых будней. Нет, не может быть. Она, скорее всего, вернулась в Керкуолл.

Если зажмуриться, легко вообразить ее: огненные волосы, белоснежная кожа, васильковые глаза. Руки тоскуют по кисти, по краскам, хочется запечатлеть ее на бумаге. Ночью, во мраке, среди храпа, кряхтенья и стонов, он мысленно рисует ее, воссоздает красоту.

А сейчас Чезаре, поддев ногой упрямый булыжник, взваливает его на лопату. Джино подкатывает тачку.

– Ближе не подойду. – Джино кивает на булыжник: – До сих пор нога болит.

Чезаре смеется, и от смеха больно в груди; неужто, думает он, подцепил ту же заразу, что ходит в лагере, – лихорадка и кашель, от которого дрожь по всему телу?

Джино спрашивает, будто угадав, что у него на уме:

– А ведь было бы даже хорошо, а? Заболеть, в лазарет попасть.

Чезаре качает головой:

– Ты и так доходяга, Джино. Еще не хватало тебе заболеть.

Белоснежная улыбка вспыхивает на чумазом лице Джино.

– Да, но медсестрички там... – отвечает он мечтательно. – Хорошенькие!

Чезаре вспоминает сестру Крой – серьезное лицо, поджатые губы, горькая морщинка на лбу.

– Не в моем вкусе.

Джино разворачивает груженную доверху тачку, лицо у него напряглось, но в глазах веселые огоньки.

– Мне иногда их рыжие волосы снятся.

– погоди, – Чезаре дергает на себя тачку, и Джино чуть не падает, – у кого там рыжие волосы?

– У медсестричек. – Джино вытирает ладони о штаны. – Их там две, близняшки. Руки мне отшиб, *amico*^[5].

– Рыжие медсестры-близняшки? В лазарете?

Джино кивает, по-прежнему потирая ладони, во взгляде сквозит неуверенность. И по лицу друга Чезаре видит, что не только руки ему отбил, но и чувства ранил, хотя вообще-то ему это несвойственно.

– *Scusi*, – говорит Чезаре и выкладывает Джино все: про Доротею – теперь Джино вспомнил, это она прыгнула в воду; про их хижину, про то, как завизжала Кон и как Маклауд отправил Чезаре обратно в карьер.

– *Basta!* – кричит Джино.

– *Si*^[6]. Надо мне с ней увидеться.

За спиной у них слышен крик:

– А ну за работу! Живо!

Это Маклауд, расхаживает взад-вперед с дубинкой. Джино, указав на него взглядом, катит тачку к грузовику. Возвращается он с улыбкой.

– Марко говорит, у Маклауда в кармане женское зеркальце.

Чезаре, хоть и беспокоится за Доротею, не может не усмехнуться:

– Да неужели!

Джино кивком подзывает Марко. Тот исхудал даже сильнее, чем Чезаре с Джино, лицо у него пепельно-серое, глаза тусклые. Но он оживляется, когда Джино спрашивает про Маклауда, – да, у того в кармане зеркальце и щеточка для усов.

– Что ему расчесывать, яйца? Где там красота?

Джино заходится смехом, Чезаре подхватывает, но раздается хлопок, будто раскат грома, – и Чезаре лежит на земле, лицом в камни.

Он не сразу понимает, в чем дело.

Перед глазами у него черные ботинки охранника, а выше – лицо Маклауда, равнодушное, словно он не человека разглядывает, а булыжник.

Чезаре приподнимается, моргает, чтобы не плыло в глазах. И тут же падает от нового удара Маклауда.

– Макаронник, ленивое отродье! – Маклауд заносит дубинку, и Чезаре, вздрогнув, прикрывает руками голову. Но до удара дело так и не доходит.

Марко, выкрутив Маклауду руку, вырывает у него дубинку и швыряет на другую сторону карьера. Все застывают в ожидании.

Маклауд, смерив взглядом Марко, выхватывает из кобуры пистолет, Чезаре кричит: «Нет!» – а Маклауд тычет Марко стволом в лицо. Слышен тошнотворный хруст, и Марко падает навзничь, ударившись затылком о камень.

И лежит неподвижно.

Чезаре не раздумывая бросается на Маклауда с кулаками. Оба валятся на землю.

В детстве Чезаре не был забиякой, сторонился драк. Отколотить его никто не пытался, сам он был тихий мечтатель, но ему не раз приходилось разнимать драчунов. Случалось, он недооценивал противника, и тогда доставалось ему самому. Главное, усвоил он, не бить лишний раз. Нужно предвидеть действия противника – по напряжению в лице и позе, по губам, по силе удара. Даже если

соперник сильнее тебя или быстрее, все равно можно увернуться, а потом дать ему по шее, положить на лопатки.

Но Чезаре недооценил силу Энгуса Маклауда, не учел, насколько сам ослабел за два месяца от голода и холода.

Маклауд, оттолкнув Чезаре, вскакивает. Чезаре шарит в поисках булыжника, лопаты, хоть какого-то оружия, но Маклауд наступает ему на руку. Чезаре, взыв от боли, пытается встать, но остается лежать, увидев, как Маклауд наводит на него пистолет.

Чезаре понимает, что ему конец.

Сердце у человека как сжатый кулак, и величиной, и формой. Чезаре вспоминает, как, изучая анатомические рисунки Леонардо да Винчи, проводил пальцем вдоль нарисованных сосудов, потом клал ладонь себе на грудь. Сейчас сердце бьется отчаянно, подкатывает к самому горлу.

Маклауд целится. Чезаре чувствует взгляды товарищей, каждый свой мускул, каждый вдох и выдох.

Крови в человеке четыре-пять литров. Если поврежден крупный сосуд, можно истечь кровью в считанные минуты. Если пуля засядет в руке или ноге, ее можно извлечь. А если заденет важный орган – печень, легкое, кишечник...

В Африке, среди пустыни, на руках у Чезаре умер Алессандро, сраженный пулей в грудь. Его последний вздох звучал как отдаленный рокот водопада. В глазах у мертвого человека всегда невыразимое спокойствие. Интересно, какой цвет вспыхнет у него перед взором за секунду до смерти? Красный, а может, черный?

Хорошо бы синий. Небо. Ее глаза.

Маклауд щелкает предохранителем.

Кто там кричит – Джино? Или кто-то другой? А может, он сам? Не разберешь – время замедлилось, как во сне.

Закрыв глаза, Чезаре считает; он видит горы, оливковые деревья, церковный свод. Видит девушку с огненными волосами. Представляет движения ее губ, когда она называет его по имени.

Снова крики, грохот, мешанина звуков. Чезаре хлопает глазами, но Маклауда не видно, лишь коричневые фигуры, окружившие его стеной, да стоптанные башмаки.

Видимо, товарищи заслонили его от Маклауда, от пули. От пули, что вошла бы ему в сердце.

И пленные, побросав лопаты, друг за другом начинают хлопать в ладоши, медленно и мерно, будто где-то далеко марширует отряд, и мало-помалу хлопки перерастают в гром, в шквал.

Маклауд в кругу пленных, мечется туда-сюда, орет; курок его пистолета по-прежнему взведен, но дуло смотрит в землю. Слова Маклауда тонут в шуме, и Чезаре, поднявшись с земли, тоже начинает аплодировать; рука болит, кровь капает из нее на штанину, но ему все равно, все равно, ведь, *mio Dio*, взгляните только, что за физиономия у охранника! А пленные гикают, хлопают в ладоши – и все стали словно выше ростом. Каждый будто сбросил с плеч груз, серый покров, что пригибал к земле, заставлял морщиться, а теперь исчез.

Отовсюду сбегается охрана – англичане, с дубинками наперевес. Но все они застывают при виде живой стены из пленных, а те по-прежнему галдят и хлопают в ладоши.

Чезаре окидывает взглядом склон холма – там, вдали, другие бригады итальянцев тоже бросили работу, отложили лопаты. И – возможно, ему почудилось или он это придумал уже потом – у всех грузовиков заглохли моторы, не слышно больше скрежета подъемных кранов. Даже море будто затаило дыхание, прислушиваясь к голосам людей, бросивших лопаты: «Нет, больше вы нас не заставите копать! Нет, не станем вам помогать воевать с нашими земляками! Нет, больше мы вам не рабы!»

Майор Бейтс, расхаживая вдоль шеренги пленных, кричит, но те как оглохли. Ни один не взял лопату.

Лицо у майора багровое, на Маклауда он тоже наорал, обозвал дубиной и отослал в контору, но итальянцы по-прежнему бастуют. Между ними неписанный договор – сколько бы ни орал майор Бейтс, сколько бы ни угрожал, лопаты в руки не брать.

Майор замечает Чезаре.

– Эй! А ну сюда! – подзывает он. И обращается к Чезаре негромко, но так, чтобы и другие услышали: – Вот что, я не самодур. Не хочу вас запугивать. Но вы должны работать. Это приказ.

Чезаре чувствует, что к нему прикованы все взгляды – на него смотрят земляки. Так мало получали они писем из дома, а те, что доходили, пострадали от сырости и небрежных рук или же были полны мелких подробностей домашней жизни, от которых еще горше

тоскуешь по родине. В эту минуту Чезаре кажется, что эти люди и есть его родина. Они ему отчизна, приют, опора – те, с кем он побывал под пулями, с кем терпел зной и холод, – сейчас они все как один отложили лопаты, потому что иначе нельзя.

– Копайте, – чеканит майор Бейтс, глядя на Чезаре.

– Мы отказываемся строить вражеские укрепления, – отвечает Чезаре, и когда он встречается глазами с Доминго, тот чуть заметно, ободряюще кивает. – Это против Женевской конвенции.

Майор Бейтс картинно хватается за голову. Глаза у него округлились, во взгляде изумление пополам с отчаянием, и чуть дрогнувшим голосом он приказывает пленным вернуться в лагерь и не покидать барачков.

– На сегодня всех сажаем на хлеб и воду. И завтра, если не начнете работать, тоже на хлеб и воду. И послезавтра на хлеб и воду. И из барачков не выходить до моего распоряжения.

В лагерь они возвращаются, недовольно бурча, но все приосанились, развернули плечи. Чезаре шагает вместе со всеми, дивясь про себя: посмотреть со стороны, так кажется, будто они идут родными полями, убирать урожай.

Чезаре дышит глубоко, полной грудью. Он начисто забыл и про боль в руке, и про кровь на форменных штанах, и про то, что у него начинается жар, ломит кости, тяжелеют руки-ноги.

И для него неожиданность, когда один из охранников, держащий за локоть Марко, хватается заодно и его, Чезаре, и обоих тащит в лазарет.

Дороги

Перевязываю пленному вывихнутую лодыжку. За спиной у меня стоит Кон с ножницами и булавками и подает мне все нужное, не успеваю я и руку протянуть.

– После войны женюсь на тебе, – обращается пленный к Кон, и она сияет, а скажи ей кто-нибудь такое всего неделю назад, побледнела бы, уставилась в пол. Взяв у нее ножницы, коротко сжимаю ей руку. Щеки у сестры порозовели, и она уже не хрипит, только устает быстро. Здесь, в лазарете, обе мы стали лучше питаться. Иногда мы заглядываем в хижину, но без дыры в крыше там сумрачно, и я без

слов понимаю, что Кон, взглянув на свежие доски, всякий раз вспоминает Энгуса.

Закрепляю пленному повязку булавками.

– Увезу тебя во Флоренцию, – обещает Кон итальянец. – Буду тебе каждый день приносить апельсины, виноград. И персики! Будешь на солнышке сидеть, персики есть!

Кон качает головой:

– Я больше люблю прохладу.

Итальянец готов ответить, но тут распахивается дверь. Оглядываюсь – и в первый миг не узнаю Чезаре, так он побледнел и исхудал.

Но взгляд его светлеет, остановившись на мне. Лишь спустя миг я замечаю, что рука у него в крови, пальцы скрючены.

– Боже! – ахаю я. – Идите сюда! Я сейчас... Сядьте!

Его коричневые брюки заляпаны кровью. Усаживаю его на кровать, а Кон и Бесс заняты вторым пострадавшим – тот в полузабытьи, рана на голове сильно кровоточит.

– Что случилось? – По очереди касаюсь окровавленных пальцев Чезаре, пробую согнуть каждый. Он втягивает воздух сквозь стиснутые зубы, качает головой, указывая взглядом на охранника, который следит за нами обоими.

Я киваю – мол, поняла – и начинаю обрабатывать ссадины на его руке. Некоторые из них глубокие, в них попала земля, и я морщусь, вода по ним влажной марлей.

– Простите, – шепчу я.

– Не больно, – отвечает он, но лоб в испарине, зубы стиснуты.

Прикасаюсь к его лбу – да у него жар. Отвернувшись, он давится кашлем, и я вздрагиваю.

– Вы еще и заразу эту подхватили.

Откашлявшись, он качает головой:

– Пустяки. Вы здоровы? – бормочет он. – А ваша сестра?

– Ей лучше. – Я незаметно указываю на Кон, которая промывает раны его товарищу.

– Разговорчики с пленными! – рявкает охранник.

Я порываюсь возразить ему: разговоры с пленными никогда у нас не были под запретом. Но тут Чезаре, слегка округлив глаза, предостерегающе глядит на меня.

Вновь распахивается дверь, порыв ледяного ветра, на пороге другой охранник. Первый, суровый, коротко переговорив с товарищем, подходит к нам.

– Ты, – обращается он к Чезаре, – отправляешься в карцер. И ты, – он кивает второму узнику, – ты тоже.

Тот почти без сознания, чуть не валится с койки.

– Нет! – возмущается Кон. – За ним уход нужен.

Охранник в раздумье оттягивает воротник, затем поворачивается к Чезаре:

– Ну а ты все равно со мной пойдешь.

– За что? Почему?

Он прижимает к груди только что перевязанную руку. Я все замечаю – и легкую дрожь в его пальцах, и нездоровый румянец, и испарину на лбу.

– За подстрекательство к бунту и нападение на охранника, – отвечает человек в форме.

Чезаре качает головой:

– Я не...

– Хватит! – Охранник рывком поднимает Чезаре на ноги.

– Только не уводите его! – вступаюсь я. – Рука у него... И он, кажется, заразился, у него жар. Слышите, как он кашляет?

Охранник, презрительно оглядев Чезаре, отворачивается.

– По мне, так все с ним в порядке, итальяшка как итальяшка, – бросает он.

– Нет! – Пытаюсь схватить охранника за руку, но Кон уже тут как тут, удерживает меня:

– Не вздумай, Дот!

Лицо сестры искажено страхом, как после «Ройял Оука» и гибели того несчастного. Мне казалось, тогдашний ее ужас был связан с нею самой, с ее поступком. Но сейчас, глядя в ее расширенные от страха глаза, полные мольбы, я понимаю: Кон страшно за меня, хочется меня уберечь.

– Не надо, – вновь умоляет она.

– Надо! – Я вырываюсь, но она вцепилась мертвой хваткой.

– Ты можешь пострадать...

Я отталкиваю ее.

– Пусти! – кричу сердито.

– Послушай... – Она держит меня за рукав.

Вырываюсь, толкаю ее в плечо – сильнее, чем рассчитывала, чуть не сбив с ног.

Кон спотыкается о ножку кровати. Вскрикнув, выпрямляется, смотрит на меня непонимающе. Я не в силах поднять на нее взгляд, не в силах смотреть, как она потирает ушибленное плечо. Ладонь у меня горит.

Отвернувшись от Кон, гляжу, как охранник, заломив Чезаре руку за спину, выводит его из лазарета.

Оглядываюсь на Кон – она застыла неподвижно, схватившись за щеку, будто я ударила ее по лицу.

Сердце разрывается от чувства вины, и я, стараясь его как-то заглушить, огрызаюсь:

– Не смотри на меня так. Ты в меня вцепилась, насела на меня. Вечно ты так. Хватит на мне виснуть, надоело. – Это неправда, но сейчас, когда Чезаре волокут в карцер, мне все равно.

Разворачиваюсь и иду к мойке, полоскать окровавленные зажимы и миски. В облаке пара от горячей воды я, к моему облегчению, не вижу потрясенного лица сестры.

Хочу сказать ей: прости, я тебя нечаянно толкнула и накричала на тебя зря.

Но не трогаюсь с места. Вода в мойке становится ржаво-красной, потом чистой, прозрачной. Я нарочно звякаю инструментами, чтобы не слышать своего дыхания, отвлечься от беспокойных мыслей.

Снаружи врывается ледяной воздух, хлопает дверь. Я оборачиваюсь – Кон убежала. Неизвестно куда.

Куда же она пойдет? К заброшенным могилам? В одну из пещер? Или в хижину? Где ее искать?

«Мне все равно», – повторяю я про себя с яростью.

Странная мысль – от нее обрывается сердце, как если взбираешься по лестнице, а под ногой вдруг проваливается ступенька.

Возвращается из столовой Бесс, приносит два бутерброда. И, даже не взглянув на меня, берется за метлу.

– Что там с пленными? – спрашиваю я.

Бесс подметает, глядя в пол.

– Бунт устроили, – отвечает она тихо. – Работать не хотят. Всех посадили на хлеб и воду, из барачков не выпускают.

– Но... ведь неправда, что тот пленный... Он, говорят, охранника ударил?

Бесс, передернув плечами, продолжает мести. Щека у нее чуть подергивается, на меня она не смотрит.

– Куда сестра твоя подевалась? Там холод собачий, и снег вот-вот пойдет.

Выглядываю за дверь – уже смеркается; зову, но ответа нет. Сажусь на кровать и жду.

Кон все нет и нет.

Вскипятив кастрюлю воды, добавляю в нее меду, разливаю в две бутылки. Закрыв глаза, пытаюсь представить, куда могла пойти Кон.

Не получается.

Еще час слоняюсь из угла в угол и жду, а потом, сунув в карманы бутылки с горячим медовым напитком, выхожу на мороз.

Мириады холодных звезд словно вбиты в стылое небо. Высматриваю северное сияние – полупрозрачные огненные ленты, что вспыхивают в зимнем небе, напоминая нам, что мир вокруг полон жизни. Глухая ночь – темная, молчаливая.

– Кон! – зову я. – Кон!

Не отзывается. Бараки погружены во тьму. Представляю, как встрепенулись в них узники, вслушиваясь в мой зов. Может быть, думают, что это дух острова. А охранники, видно, решили, что это шелки в образе человека, потеряла возлюбленного и стенает подобно шуму ветра.

Зову и зову.

Тишина.

Перед закрытой дверью карцера, стуча зубами от холода, стоит часовой. За дверью кто-то кашляет.

Чезаре.

Студеный ветер обжигает щеки, запахиваю поплотней пальто. Заметив меня – точнее, мою тень, – часовой хватается за рукоять пистолета. Замираю в луче фонарика, достаю из кармана платок и машу – мол, сдаюсь. И силюсь улыбнуться.

Часовой не убирает руки с пистолета за поясом. Вдохнув поглубже, подхожу ближе, а сама улыбаюсь, машу платком.

– Ну и холод, – говорю я.

– Здесь ходить запрещено. – Вблизи видно, что он совсем молоденький, примерно одних лет со мной. И дрожит он, наверное, не только от холода.

– Простите, напугала, – говорю я.

– Не напугали. – А у самого глаза большие-большие.

– Еще бы. Я хотела узнать, можно ли навестить пленного. Я медсестра. Он болен.

Он качает головой:

– Не велено пускать. Там опасный преступник.

– Он болен. Я лекарство ему принесла.

Часовой крепче сжимает оружие.

– Нельзя, приказ.

– Прошу вас. – Приближаюсь еще на шаг.

– Что вы такое задумали? – Он мельком заглядывает мне в лицо.

– Ничего, – заверяю я. – Пришла проведать, вот и все.

– Не положено. И не пытайтесь меня запугать.

– То есть как – запугать? Вас попробуй запугай!

Часовой беспокойно облизывает губы.

– Хорошо вы с пленными управляетесь, – говорю я. – Вы просто герой.

Он приосанивается.

– Они не бузят. Со мной шутки плохи.

– Это точно. Ответственная у вас работа, судьбу пленных решать.

Такой груз!

Часовой переминается с ноги на ногу и мямлит:

– Ммм... да.

– Мне нужно пленного проведать, и все, – твержу я. – Он болен.

– Чую, что-то у вас на уме.

– Что я могу такого сделать? Я же всего-навсего девчонка.

Он колеблется.

– Ну пожалуйста, – умоляю я. – Век не забуду вашей доброты.

Он качает головой.

– Но он совсем плох, – уверяю я. – А вдруг умрет? По вашей вине.

Что тогда скажете?

Часовой вздыхает:

– Ладно. Пять минут. И чтоб без фокусов, я за вами слежу.

В карцере темно хоть глаз выколи. Часовой заходит первым и рывкает: «Встать!»

В глубине карцера слышен лязг; часовой направляет луч фонарика на Цезаре, тот ежится, заслоняя ладонью от резкого света.

Он бледен, а когда кашляет, в груди у него клокочет, будто перекатываются морские камешки.

– Ну и кашель, – вздыхаю я. – Можно на вас взглянуть?

Цезаре протягивает руки, бряцая цепями.

– Я пленный. Что хотите, то со мной и делайте.

– Надо вас послушать, пульс посчитать, – говорю я. – Я вам воды с медом принесла. В Керкуолле у нас был улей, я сама мед собирала... – Язык заплетается, и я радуюсь про себя, что в темноте не видно, как пылают у меня щеки.

Протягиваю ему бутылку с медовым напитком. Ладони у него как лед, повязка на руке замусолилась; дрожащими пальцами он отвинчивает крышку, подносит бутылку ко рту. Вторую я ставлю возле него на пол:

– Про запас.

– Спасибо. – При тусклом свете фонарика глаза у него как черные провалы.

– Надо пульс у вас проверить.

– Без фокусов! – предупреждает часовой.

Цезаре смотрит на меня, пока я держу его за запястье, но пульс еле прощупывается. Дрожащими руками расстегиваю ворот его рубашки. Отыскиваю пульс на шее, и он замирает, почти не дыша. Кожа у него теплая, шершавая, а пульс так и скачет. Считаю его быстрые вдохи-выдохи.

Он не отрываясь смотрит мне в глаза.

– Я вас вызволю отсюда, – шепчу я.

Цезаре жмурится, кашляет.

– Время вышло, – говорит часовой и исчезает в ночи.

Я устремляюсь следом, но Цезаре, схватив меня за руку, тянет к себе. Сердце у меня обрывается.

Цезаре шепчет горячими губами мне в самое ухо:

– Я не бил Маклауда. Нет никакой бунт. Но они не верят. Помогите.

Чезаре отпускает меня, и я застываю, потирая запястье, по-прежнему чувствуя его жаркое дыхание. Он снова давится кашлем, смотрит на меня с мольбой.

Возвращаюсь в лазарет, и чудится, будто его пальцы сжимают мне запястье, в ушах звенят слова Чезаре.

Помогите.

Я совсем забыла про Кон, а она вернулась, поджидает меня в лазарете. Сидит на койке, щеки красные от холода.

– Прости. – Она привлекает меня к себе. – Я за тебя боялась, вот и все.

Я киваю. Я не спрашиваю, где она пропадала. И не извиняюсь.

Помогите.

Свет в лазарете приглушен, все больные спят. Руки у Кон как ледышки. Она тянет меня в наш угол за занавеской, и, ни слова друг другу не говоря, мы ложимся вдвоем на узкую кровать. Поворачиваюсь к ней спиной. Постель холодная, голова раскалывается. Слышу в темноте дыхание Кон.

Она легонько толкает меня в бок:

– Ишь, разлеглась, всю постель заняла.

Я через силу улыбаюсь.

Кон тянется к моей руке.

*И кровь, и кость, и дух, и плоть
Холодный камень заберет.*

В детстве мы оплакивали всех рыбаков, что не вернулись с промысла. Тайком убегали к морю и повторяли старинное заклинание.

Нам запрещали ложиться на песок между линиями прилива и отлива: это не море и не суша, а значит, здесь дьявол хозяин. Но, говорят, если в этой полосе лечь на песок, положить на себя семь камней и произнести эти строки, то море вернет свою добычу. А взамен заберет частичку твоей души. Что ж, справедливо, думали мы, – наши души в обмен на все отнятые жизни.

Мы клали камешки себе на лоб, на грудь, на ладони и ступни, на низ живота и распевали:

*И кровь, и кость, и дух, и плоть
Холодный камень заберет.*

И вот я лежу в больничной тьме, слышу знакомые слова, и меня пробирает озноб.

Что я готова отдать, чтобы спасти кому-то жизнь?

При неверном свете луны разглядываю наши руки, до того похожие, что если сплести пальцы, то и не различишь, где чья.

– Я тебя люблю, – шепчет Кон.

– И я тебя люблю, – отвечаю я. И, странное дело, слова эти утрачивают вдруг смысл, но срываются с языка легко, точно так же легко, как любые другие. Так же легко, как «Это не я», или «Прости», или «Я за тебя боялась».

Островитяне

В воздухе тихо кружат снежинки, в ратушу стекаются люди. Поздний вечер, темно, женщины и дети почти все остались дома – им советовали не приходить, потому что повод для собрания тяжелый.

Марджори Крой пришла несмотря ни на что.

– Дети мои в стоптанных башмаках ходят, и ничего, ноги выдерживают – значит, выдержат и уши.

И вот она сидит в ратуше, справа и слева от нее двое ребятишек, младший на коленях. Щеки у нее разрумьнились от холода, руки сложены в замок. В линии подбородка угадывается сходство с ее дочерью, Бесс, – годы размыли черты лица, но все же осталось в нем что-то дерзкое, воинственное.

Марджори с детьми молча сидят рядом с земляками, и вскоре входит Джон О'Фаррелл, а с ним майор Бейтс.

Все оживляются: майора Бейтса они видели лишь однажды, когда он приезжал на остров набирать добровольцев в охрану, и вначале нашли его странным – строгий, говорили о нем, сухарь, однако чем дальше, тем чаще охранники рассказывали, что он способен проявлять доброту.

Теперь, к началу марта, он осунулся, постарел, поседел. И будто усох.

Похудел и Джон О'Фаррелл, и седина у него стала заметней.

Выступив вперед, он переглядывается с майором Бейтсом, и тот ободряюще кивает.

Джон О'Фаррелл начинает уверенно:

– Насколько я знаю, в последнее время поступали жалобы на пленных...

– Да не на пленных, – перебивает Артур Флетт, – а где, дьявол их раздери...

– Придержи язык! – кричит кто-то.

– Черт... Виноват. – Артур кивает, извиняясь перед Марджори, чьи дети хихикают, услышав ругань. – Я зол как не знаю кто, – продолжает Артур, – и не я один. Работники они, пленные, хоть куда, и вот мне заявляют, что больше они помогать не будут. А у меня участок только наполовину огорожен, ну и что теперь делать?

По залу пробегает одобрителный шепоток: у Алистера Нила канава недорыта, Рэбби Фирту в одиночку не загнать овец.

Джон О'Фаррелл жестом призывает к тишине, и галдеж мало-помалу унимается.

– Пленные, – объясняет он хмуро, – бастуют.

– Бастуют? – переспрашивает Рэбби. – Чтоб им больше платили? Или пенсию начислили?

Слышны приглушенные смешки, но когда встает майор Бейтс, воцаряется молчание.

– Они недовольны тем, что работа их якобы противоречит Женевской конвенции, согласно которой военнопленных нельзя принуждать строить вражеские укрепления.

Непонимающие взгляды со всех сторон.

– Поэтому, – продолжает майор Бейтс, – мы им хотим сказать, что эти... барьеры – вовсе не линия обороны. И к войне отношения не имеют. Это, – он запинается, – дамбы. Дамбы, необходимые для связи между островами. Гражданские сооружения, они и в мирное время нам послужат. Хотелось бы от вас единодушия.

Тишина.

Наконец Рэбби Фирт спрашивает:

– Значит... если мы скажем пленным, что они строят дамбы, то они и с нашей работой будут помогать?

– Верно.

Под одобрительный гул кое-кто встает и собирается идти, но тут слышен голос Марджори Крой:

– А как обращаются с пленными?

Все замирают, молча смотрят на нее. Марджори, окруженная детьми, с малышом на коленях, продолжает:

– В каких условиях их содержат? Мне моя Бесс много чего порассказала.

Никто уже не торопится уходить.

– Она в лазарете работает, – объясняет Марджори, обернувшись, чтобы всем было слышно. – И говорит, их избивают, синяки у некоторых ужасные. Говорит, их держат на хлебе и воде. Запирают в карцер, вот что она рассказывает. Голодом морят.

Майор Бейтс возражает – мол, преувеличение, – но слова его тонут в возмущенном гуле: у многих из местных жителей сыновья и братья в немецком плену. Около месяца назад по радио передали, что Япония захватила Сингапур и шестьдесят тысяч британцев попали в плен.

– Так и будем с ними обращаться по-скотски? – вопрошает Марджори. А ее дети, будто им не впервой это слышать, смотрят на майора не мигая, словно божества судьбы.

– Разумеется, нет, – отвечает он, краснея. – Нет, конечно.

И когда майор садится, Джон О'Фаррелл шепчет ему в ухо:

– Здесь, на островах, слухи разносятся быстро. Жители этого не потерпят. Здесь свои земельные законы, еще с тринадцатого века. Они не допустят, чтобы у них на островах людей мучили, голодом морили. Чувство справедливости не позволит...

– К черту справедливость, – возражает майор Бейтс. – Не они же начальство в лагере.

– Верно, – кивает Джон О'Фаррелл, – но ни к чему нам беспорядки ни в лагере, ни на большом острове. Люди здесь лишь до поры терпят, а потом станут сами порядок наводить. Разумней сейчас к ним прислушаться.

Часть третья

*Как может быть: был лес глухой кругом
И в чаще – огонек.
Какое чудо
Нас вывело к нему?*

Эдвин Мюир, «Чаща»

Февраль 1942

Констанс

В тот день, когда мне впервые захотелось прикончить одного из охранников, я и сама чуть не погибла.

За порогом лазарета ледяной холод, тьма сгустилась вмиг, будто камнем упала, небо серое, как гранит, а на горизонте черное. Я хочу разглядеть первую звезду, но сразу жмурюсь от ветра. Выскочила без пальто, а возвращаться за ним уже поздно. На бегу я споткнулась о ножку кровати, лодыжка ноет, и с каждым шагом отдаются в голове слова Дот: «Хватит на мне виснуть».

Вот и первая звезда. Дрожа от холода, я пытаюсь загадать желание. Но чего мне желать? Чтобы сестра образумилась? Чтоб итальянцы куда-нибудь делись с острова или их скосила эпидемия? Или пожелать чего-нибудь еще? Попросить себе других воспоминаний?

Я касаюсь пальцами ямки между ключицами, буду считать шаги, пока дыхание не станет ровным.

И застываю как вкопанная. Со всех сторон меня обступают смутные тени барачков, и сердце падает, будто подо мной провалилась ступенька, – я заблудилась.

Заблудилась посреди лагеря, где полно чужих людей.

Смешно, но эти хлипкие строения кажутся мне лабиринтом. Все они на одно лицо, как и их обитатели. Представляю людей в бараках, их жаркое дыхание, мускулистые руки, смех.

Мне трудно дышать, ноги подкашиваются, взгляд устремлен в одну точку. Раньше мне казалось, что туннельное зрение – это всего лишь выдумка. Но однажды настала минута, когда я ничего кругом не видела, кроме одного-единственного лица. И думала: это последнее, что я вижу в жизни.

Стою неподвижно возле стены какого-то барака, вдыхаю поглубже и медленно выдыхаю, глядя, как пар от моего дыхания поднимается к звездному небу и исчезает бесследно.

Приказываю себе идти дальше, но внутри пустота, земля будто уходит из-под ног. Скорей бы добраться до хижины, там нечего бояться, туда придет Дот и найдет меня. И я сумею ей объяснить, какой опасности она себя подвергает. А может, пойти к Скара-Брей – остаткам древнего поселения у моря? Спрячусь там, а Дот пусть меня ищет. Тогда она, наверное, испугается, что может меня потерять. Может быть, тогда она поймет, каково мне. Может, это ее образумит.

Тьма кругом, ничего не видно, но, стоя позади барака, я слышу разговор на чужом языке. Каждое слово источает угрозу.

Темнота кажется густой, плотной; пересилив себя, пробираюсь мимо бараков, считаю их, ищу выход из лабиринта. Из одного барака доносится тихая песня, из другого – целый хор голосов. Наверное, молитва.

Бараки кончились, я уперлась в колючую проволоку. Прищурившись, всматриваюсь в серые контуры строений. Оказалось, я шла не в ту сторону, ворота в другом конце лагеря.

Оглядываюсь, но тут же замираю – тут кто-то есть. У ограды разговаривают двое охранников, их лица подсвечены рыжими огоньками сигарет. Я коченею от ужаса.

Это он.

И снова рука тянется к ямке между ключицами. Туда, где он однажды касался меня губами.

Первая мысль – развернуться и бежать без оглядки, но вдруг слышат? И, застыв, я смотрю, как шагах в двадцати от меня из барака выводят пленного.

Оба охранника, отшвырнув сигареты, подходят к итальянцу, и не успеваю я ни отвернуться, ни закрыть лицо, а они уже бьют его ногами. Он стонет, хватается за живот, падает на колени. Его ставят на ноги, что-то кричат в ухо и снова бьют.

Узник уже не стонет, лишь сипло вздыхает с каждым ударом. Из соседних бараков никто не выбегает. Товарищи не возмущаются, не бросаются ему на подмогу.

Кто он, этот узник? Один из бунтовщиков? Охранники избивают его методично, но будто от нечего делать, лица у них скучающие.

Я смотрю, оцепенев, не в силах шевельнуться. Возле моих ног валяется камень. Увесистый, с острым краем, запросто может пробить голову. Раскроить череп. Во мне просыпается прежняя ярость,

прежний ужас – та же сумятица чувств, что не давала мне спать ночами, даже когда мы покинули Керкуолл. И меня захлестывает стыд.

Во рту становится горько. Сглатываю. На глазах слезы. Зажмурившись, прижавшись спиной к холодной стене барака, считаю вдохи и внушаю себе, что никакого камня нет. Что это не я только что представляла, как брошу камень. И положу конец страданиям пленного.

Открываю глаза – все уже позади: узника уволокли обратно в барак, охранники стоят, прислонившись к деревянным столбикам ограды, и вновь огоньки сигарет подсвечивают их лица.

Слышен тихий смех Энгуса.

Знаю, это он, точно он. От этого смеха по телу бегут мурашки, волосы шевелятся, во рту пересыхает. Этот смех впечатан мне в душу, он часть меня.

Говорят, у каждого человека есть свой предел прочности, хоть это и странно звучит: кто-то сломался, а потому прибег к насилию. Разумеется, люди ломаются не в одночасье. Скорее, терпение как повязка на ране: чем дальше, тем тоньше, тем сильнее изнашивается. Под конец остается лишь хлипкая сетка, а под ней – живое мясо.

Тело живет своей загадочной жизнью, по-своему отсчитывает время – стуком сердца, дыханием, взмахами ресниц. Каждое движение – звено в борьбе за жизнь, и они же – песчинки в песочных часах, отмеряющих секунды до смерти.

А умирает человек всегда в одиночку.

Охранники курят, пересмеиваются вполголоса. Точно так же мог бы смеяться кто угодно и где угодно. По лицу человека не скажешь, хороший он или плохой. По голосу или улыбке не угадаешь, что он хочет сделать – поцеловать тебя или убить, или и то и другое.

Сворачиваю назад, в лабиринт бараков, – там все стихло. Итальянцы наверняка слышали стоны товарища. Возможно, ночные крики для них дело привычное. Может быть, каждое утро кто-то из них просыпается с синяками, и они плетутся в каменоломню – без сил, хоть день только начинается.

Но даже человек страдающий может быть опасен. Приходится себе об этом напоминать. Даже тот, кто с виду безобиден, кто кажется

мягким, дружелюбным – даже он способен причинить боль. А если дашь волю состраданию, поддашься на его обман, он тебя уничтожит.

Не успеваю я опомниться, как ноги уже сами бегут – прочь от пленных, от охраны, от барачков. Выбегаю во двор и жду, когда окликнет меня часовая у ворот. Нам, конечно, можно отлучаться, и мне, и Дот, но если увидят, что я несусь как угорелая, то вопросов не избежать.

Но никого из охраны поблизости нет, никто меня не окликает, не останавливает.

Замедляю шаг, замираю у ограды – там, где ближе всего скалистый берег. Снизу слышен мерный рокот волн у скал. Волны бьются и бьются не умолкая, будто чье-то сердце.

Если подлезть под изгородь, то три счета – и кончено. Шаг – падение – тишина.

Представляю Дот в лагере, одну среди тысячной толпы. Прислушиваюсь к мерному дыханию моря. Неумолчному, вечному.

В холодной темноте мне чудится голос Дот, она зовет меня.

Заставляю себя оглянуться, вернуться назад, в лазарет.

Желтым светом сияют окна, манят обратно в тепло, туда, где пахнет лекарствами, где спят на койках больные. И где Дот.

Но Дот нигде нет. Заглядываю в наш закуток, в стерилизационную, в угол за занавеской, там дремлет за письменным столом Бесс.

Тормошу ее за локоть:

– Ты Дот не видела?

Бесс вздрагивает, просыпается, таращит на меня глаза.

– Наконец-то! Я уж волноваться начала.

– Где Дот?

– А-а... она пошла... – Бесс отводит взгляд – сейчас скажет, что Дот пошла меня искать. Бродит где-то, мерзнет. Ну зачем я убежала? Как могла я подвергнуть ее опасности?

Бесс встает, раскладывает зажимы, скальпели.

– Она, кажется, ушла проведать пленного, Цезаре. Меду ему отнести, от кашля. – Бесс оборачивается и, увидев мое лицо, неверно истолковывает его выражение. – Кон, ну Кон, да не забыла она про тебя. Она за тебя волновалась. Ждала, когда ты вернешься. И выходила, звала тебя. Наверное, решила, что ты вернулась в хижину.

Кивнув, я отворачиваюсь, в голове пустота, в висках стучит. Оглядываю лазарет – на койках спят пленные в больничных пижамах, мирная картина, но мне она видится иначе. Я представляю под одеялами их волосатые руки, что так легко могут сжаться в кулаки. Представляю их мускулистые тела. И думаю о Дот – она сейчас в карцере, доверчиво протягивает руку едва знакомому человеку.

Дороти

Чезаре, которого почти неделю продержали в карцере, будто стал ниже ростом. Весь в грязи, лицо изжелта-бледное. Во время приступов кашля на шее у него вздуваются жилы, словно он борется за каждый глоток воздуха.

Но каждый вздох его, хоть и натужный, наполняет меня радостью. Он жив! Жив!

Пока Чезаре был в карцере, я каждый день ходила к майору за него хлопотать.

– Это варварство, – твердила я. – Он же болен.

Майор Бейтс шуршал бумагами.

– Не так все просто.

А оказалось проще некуда. Бесс в Керкуолле поговорила с матерью и наутро вбежала в лазарет, а сама так и сияет.

– Было собрание. Людям не по душе, что с пленными обращаются жестоко. – Она улыбнулась, и мне хотелось разделить ее радость, но не верилось: неужто все так дружно вступились за чужаков?

А на другое утро перед карцером столпились охранники, возмущенные, взволнованные, будто ждали нового бунта, однако Энгуса Маклауда среди них не было.

И вот он, Чезаре. Кашляет, пошатывается, но живой.

Он еле дышит, спотыкается, падает; охранники подхватывают его под мышки, ставят на ноги, и он стонет от боли.

– Отпустите его, – вступаюсь я. Охранники, будто не слыша, шагают дальше, стуча тяжелыми башмаками. Я иду следом в лазарет, составляя в голове список всего необходимого. Мед, вода, сульфаниламиды. Суп или бульон. Может быть, Кон из столовой принесет.

Кон. Стоило о ней подумать, и она уже рядом, будто откликнулась на мой зов. Смотрит на меня, руки сложены на груди, губы ниточкой.

Не говори ничего, безмолвно молю я. Она молчит, но ее осуждающий взгляд обжигает меня, словно порыв ледяного ветра.

Чезаре приводят в лазарет, укладывают на койку; пытаюсь его напоить, но он так кашляет, что не может сделать ни глотка; он весь горит, кожа сухая, как готовый вспыхнуть пергамент. Жестом отослав прочь охранников, сажусь с ним рядом, протираю ему влажной губкой лоб, руки, грудь, чтобы унять жар. Сердце его трепещет под моей рукой, точно запертая в клетке птица.

В палату заходит Энгус Маклауд. И, ухмыляясь, переводит взгляд с Чезаре на меня.

– Обошлось без расстрельной команды. Из-за тебя он умрет долгой мучительной смертью.

Я готова его растерзать, но Кон тут как тут, придерживает меня за плечо. Чувствую, как она дрожит.

При взгляде на нее лицо Энгуса смягчается.

Кон лихорадочно шепчет:

– Хочешь, чтоб у тебя рана на голове снова открылась, Энгус?

Он уходит, хлопнув дверью.

Кон стискивает мое плечо:

– Этот пленный... ты ведь совсем не знаешь, что он за человек.

Вдруг он...

Я отстраняюсь. Что толку ей объяснять? Знаю одно: с первого взгляда Чезаре, с первой его улыбки я почувствовала, будто мы знаем друг друга всю жизнь. Но скажи я об этом Кон – посмеется надо мной или станет ревновать, да я и сама понимаю, до чего нелепо это звучит, по-книжному. Фердинанд и Миранда из «Бури» или Ланселот и Гиневра. Ромео и Джульетта.

– Он не такой, как Энгус, – говорю я. А про себя думаю: я не такая, как ты.

Кон, прижимавшая к моей щеке ладонь, вздрагивает, устремляет на меня изумленные глаза.

– Ты что? – огрызаюсь я, но тут же раскаиваюсь, увидев, как отшатнулась Кон.

– Ничего ты не понимаешь. – Опустив руку, она выходит из палаты.

Я не бегу следом, хоть она и ждет, что я стану ее догонять. Я остаюсь с Цезаре, протираю ему влажной губкой грудь, подношу к его губам стакан теплой воды с медом.

В ту ночь я сплю на полу возле его койки и просыпаюсь каждый час, чтобы влить ему в рот хоть глоток. Ничего не выходит: поднесешь к его губам стакан – и вода стекает по подбородку. Вспоминаю, как выхаживают ягнят – впрыскивают им в рот лекарство из шприца, одновременно массируя горлышко. Я ложусь на кровать рядом с Цезаре. Темнота почти полная, лишь в дальнем углу тускло светит одинокая лампочка. Больные спят. Лежать рядом с Цезаре жарко, все кости у него прощупываются. Представляю, как расширяются с каждым вдохом и вновь сжимаются его легкие. Стоит мне его коснуться, он начинает дышать ровнее.

Убедившись, что соседи по палате спят, я набираю в рот медовой воды и приникаю губами к его губам – горячим, пересохшим. Переливаю ему воду изо рта в рот, поглаживая шею, и жду, когда он сглотнет. Губы у него горят, на вкус отдают кислинкой, металлом. Снова и снова прижимаюсь губами к его губам, пока стакан наконец не пустеет. И я засыпаю, уткнувшись головой в его костлявое плечо.

Спустя, кажется, всего минуту меня будит Кон, тормошит за плечо. Губы ее плотно сжаты, глаза сверкают гневом.

– Слезай! Что ты тут устроила? – Она тащит меня за руку, пытается поднять, но руки-ноги у меня отяжелели, встать нет сил. Я валюсь на нее; Кон, пощупав мой лоб, чертыхается себе под нос.

– Дурища, – бормочет она и укладывает меня на соседнюю койку.

Минуты сливаются в часы, часы – в дни. Пытаюсь не поддаваться сну, но глаза слипаются. Только что было светло – и вот уже ночь. Стоит мне открыть глаза, Кон рядом: смачивает мне губкой лоб, приносит воду, кормит медом с ложки.

Иногда ловлю на себе ее взгляд, слышу, как она ворчит под нос. Я физически ощущаю ее страх. Она кладет голову рядом со мной на подушку, гладит меня по волосам, целует в щеку.

– Ты же заразишься, – пугаюсь я.

– Ну и что.

Ухаживает она и за Цезаре. Бывает, просыпаюсь, а она смотрит, как он дышит, и я думаю с облегчением: значит, смерти она ему не

желает, иначе почему она на него так смотрит?

После бесконечных мучительных то ли дней, то ли ночей жар у меня спадает, я просыпаюсь с ясной головой. Кон нигде нет, а с соседней койки на меня смотрит Чезаре. Я открываю рот, но вместо слов вырывается хрип.

Чезаре улыбается:

– Ты похожа на ангела, но сипишь, как мой дедушка.

Я смеюсь и сразу давлюсь кашлем.

– Вижу, тебе уже лучше, – наконец отвечаю я и чувствую неловкость – сказала то, что и так очевидно.

Лицо Чезаре делается серьезным.

– Это ты меня спасла.

Кровь приливает к щекам, хочется спрятаться.

– Посмотри на меня, – шепчет он.

Поворачиваю к нему лицо. Он лежит совсем рядом, стоит лишь руку протянуть, и кажется таким близким.

– Я помню... – Он прикасается ладонью к губам.

И тут заходит Кон. И застывает на пороге, глядя на нас. Кажется, будто ей стало дурно.

На мою улыбку она не отвечает. Лампа освещает ее лицо мертвенным светом, и на секунду оно становится страшным, отталкивающим. Хочу ее окликнуть, но она, развернувшись, бесшумно выходит из палаты.

Чезаре

К жизни его возвращает тепло. Тепло и холод. От тела Доротей исходит тепло, словно к нему поднесли лампу. Когда она поит его изо рта в рот, внутри у него будто что-то оттаивает. А там, где она его не касается, – там лед, бесчувствие, смерть.

Когда он приходит в себя окончательно, все, что виделось в горячечном бреду, кажется ему сном – неужто она и впрямь касалась губами его губ? Что все это значит? Что ему нужно от нее, от чужой женщины на чужом острове? В голове туман. Чезаре то пьет, то дремлет. Силы понемногу к нему возвращаются.

Доротея выздоравливает быстрее, чем он, – работа в каменоломне его подкосила. Она может вставать, ходить по палате, читает ему газеты, сидя у него на койке. Сестру ее он тоже часто видит. Лицо у Констанс строже, она постоянно к нему приглядывается. Будь она женщиной, Чезаре счел бы, что она что-то против него задумала. Открытой вражды в ее взгляде нет, это лишь подозрение. Чем-то она ему напоминает полудикую церковную кошку в Моэне – та любила забраться повыше и сидела, как горгулья, сердито сверкая глазами, а хвост подрагивал. Иногда она царапалась, у Чезаре до сих пор отметины на запястье.

Чезаре притворяется спящим, пока Доротея листает газету и вкратце пересказывает новости о военных совещаниях в Лондоне и о том, что сделал круглощекий британский премьер. Голос ее звенит колокольчиком, рыжие волосы закрывают лицо. Соседи по палате прислушиваются, весь лазарет затихает, когда Доротея пересказывает сводки с фронта.

Иногда, пробежав глазами статью, она сжимает губы и спешит перевернуть страницу. На второй раз Чезаре приподнимается в постели:

– О чем там?

– Черчилль встречается с...

– Нет, на первой странице. Ты, кажется, не прочла.

Доротея смотрит в пол и чуть заметно вздрагивает. Чезаре ждет, охваченный внезапным страхом. Глаза ее блестят от непролитых слез.

– Бомбы? – сдавленно шепчет Чезаре. На соседних койках, должно быть, тоже услышали – весь лазарет затих. Все затаили дыхание. – Моэна? – спрашивает Чезаре.

– Здесь... здесь не сказано. Здесь написано... Прости меня. Здесь написано «успешная атака». И сказано про Милан. Это рядом с твоим домом? У тебя там... – Она запинается. – У тебя там родные?

Чезаре мотает головой и, закрыв глаза, облегченно вздыхает, но тут же становится сам себе противен: его родные живы-здоровы, а чья-то семья погибла – здесь, в лагере кто-нибудь да найдется из Милана.

В углу слышны глухие рыдания; Чезаре оглядывается – на самой дальней койке человек накрылся с головой одеялом, плечи его вздрагивают.

Чезаре вспоминается вдруг пустыня: бледно-голубое, какое-то линиялое небо, парящие грифы, взрывы, пламя. Металлический запах крови – этот запах ему не забыть никогда. И еще вспоминается карьер. Бескрайнее море, грубые охранники, линия обороны, которую надо строить для врага.

Madonna Santa! Пресвятая Дева!

Как же ему все это омерзительно! Нет сил даже слушать Доротее, хоть она и смотрит на него, ждет. Но мыслимое ли дело, валяться на кровати и слушать новости с фронта, будто для развлечения? Слушать, как иностранка толкует об «успешной атаке» на твою родину?

– Я устал, – говорит Чезаре, стараясь не замечать, как Доротее изменилась в лице, словно он ее оскорбил. Может, он и впрямь повысил голос. Да разве это так важно, если где-то – да везде! – гибнут люди?

Уткнувшись в стену, Чезаре натягивает одеяло до подбородка, потом укрывается с головой, теперь он опять под сводами белой палатки, отрезан от мира, от Доротее. Слышно, как она встает и идет к двери, потом раздается голос ее сестры, Констанс: «Говорю же, держись от него подальше, он...»

«Хватит!» – резко отвечает Дот. Скрип двери. Сквозняк – ледяной, обжигающий – и вновь тишина, лишь шепот его товарищей да глухие рыдания в углу.

Вскоре его будит шорох. Он открывает глаза и, даже не поворачиваясь, знает, что это она, он узнает ее по дыханию, по запаху дыма, который она приносит с собой, как если бы, не успевая согреться как следует, подошла на минутку вплотную к очагу.

Он не в силах повернуться, посмотреть на нее; стыдно, что он ее оттолкнул, счел виноватой, а она всего-навсего пересказывала новости. Не она же развязала войну. Она не враг.

А кто сейчас враг? Он уже запутался.

Чезаре смотрит, как движется по стене ее тень, вот она протянула к нему руку, но тут же отдернула. Он пытается дышать ровнее, но с каждым вдохом безмолвно молит: ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста...

Наконец она касается его, но не плеча, укрытого одеялом, а трогает прохладными пальцами шею, кожа к коже.

Чезаре шевелится, поворачивается.

На лице у нее робкая улыбка.

– Я говорила с майором Бейтсом. Сказала ему, что вам – всем вам – нужно знать новости из Италии. Сказала, что кто-то должен читать вслух письма из дома. Пусть кто-нибудь из ваших товарищей читает по-итальянски. Я ему сказала – ты уж прости, но нужно было его убедить, – я ему сказала, что многие из пленных, возможно, не умеют читать.

Чезаре с усилием приподнимается в постели.

– Он знает, что я умею читать. Что он сказал?

– Да много чего говорил. Видно, совесть у него неспокойна. – Она смотрит на свои руки, потом снова на Чезаре: – И он согласен, чтобы вы читали, но только в присутствии охраны, на всякий случай. – Доротея неловко переминается с ноги на ногу, но Чезаре поспешно кивает:

– *Si*. Охранников стало много после...

– После бунта, да. Еще пятьдесят человек прислали.

– Шестьдесят, – слышен голос из тени. Чезаре вздрагивает. Он и не заметил, что рядом стоит Констанс. Лица ее не видно, но голос строгий. – Еще шестьдесят человек прислали на остров.

– Ну так вот. – Доротея наклоняется к нему поближе: – Я попросила, чтобы Джино из вашего барака читал вслух письма тебе и другим. Ему разрешили приходить по вечерам. Сейчас его приведут.

Чезаре садится в постели, и в ту же минуту открывается дверь, заходит суровый охранник, а следом Джино с пачкой писем, он улыбается.

– Ну и вид у тебя, – говорит он Чезаре по-итальянски.

– Говори по-английски! – рявкает охранник.

Чезаре даже не успевает поблагодарить Доротею – улыбнувшись ему на ходу, она спешит дальше, к другим больным. Сестра следует за ней тенью.

Джино садится на стул возле кровати Чезаре, открывает письмо и начинает: «*Mio Caro*»^[7], но охранник рычит:

– По-английски, свинья ты итальянская! Сказано же!

Джино, по-прежнему лучезарно улыбаясь, оборачивается к охраннику:

– *Il mio inglese è molto buono*^[8].

– Что он сказал? – Охранник свирепо смотрит на Чезаре.

– *Stronzo*, – говорит Джино. – Улыбка при этом «сволочь» так и не сходит с его лица.

– Он плохо говорит по-английски, – вмешивается Чезаре, хоть это и неправда. – Пусть прочтет мне письмо по-итальянски.

– Английский знаешь, а на родном языке читать не умеешь? Так я и поверил!

Чезаре пожимает плечами:

– Деревня у нас очень мал-мала. По-английски я научился, когда помогал священнику в церкви. А читать учиться не успел.

В глазах охранника знакомое выражение, Чезаре видел его на лицах охранников десятки раз, оно означает: ты болван, ничтожество, скотина.

Загнав поглубже гнев, Чезаре спокойно кивает Джино: дальше.

– *Mio Caro*, – снова начинает Джино и, сделав вид, будто читает, продолжает по-итальянски: – В лагере были беспорядки. Никто работать не хотел, всех посадили на хлеб и воду. Потом майор Бейтс объяснил, что строим мы не линию обороны, а дамбы, они и в мирное время понадобятся, а значит, это не военное строительство.

– *Stronzate!*^[9] – возмущается Чезаре.

– По-английски! – встречает охранник.

– Простите, в письме плохие новости.

Джино продолжает по-итальянски, по-прежнему уткнувшись в письмо:

– Кое-кто уже начал строить эти самые «дамбы». А тех, кто не хочет, сажают на хлеб и воду. Держат целыми днями во дворе на холоде. Если ничего не сделать, еще больше народу заболит.

Чезаре следит, чтобы ни один мускул на лице не дрогнул. Охранник наблюдает за ним и Джино. Стараясь не хвататься за простыню, не стискивать зубы, Чезаре печально кивает, будто услышал дурные вести из дома.

Он смотрит, как за окном в бледно-желтом свете фонаря кружатся снежинки. Внутри все сжимается и холодеет. Он никогда не был жестоким, но сейчас впервые в жизни понимает тех, кто бросается на людей с кулаками. Внезапное открытие наполняет его страхом и жгучим стыдом.

Чезаре глубоко вздыхает:

– Надо действовать.

Джино идет дальше, «читать письма» остальным, – судя по их негодующим лицам и горячечному шепоту, он рассказывает им то же самое. Чезаре ложится, голова готова лопнуть от обилия мыслей. Гнев похож на возвращение болезни: его бросает то в жар, то в холод, руки трясутся и сами собой сжимаются в кулаки.

Он пытается успокоиться, думая о доме. Представляет зеленые отроги гор, крохотные домишки, посаженные друг к другу близко, словно зубы, не поймешь, где кончается твой сад и начинается чей-то еще. Там женщины подметали друг другу крылечки, смотрели за соседскими детьми. Там принято было делиться – куском хлеба, обедом, историями. А сердцем деревушки была церковь, время отмерялось звоном ее колоколов. Чезаре помнит голос священника, монотонный, убаюкивающий, помнит, как курился дым сияющих каминов, как пальцы священника касались его лба, а на языке таял хлеб святого причастия.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

А еще вспоминаются росписи на потолке, полные жизни. Он помнит, как звенел в церкви хор голосов. Помнит умиротворенные лица близких. Надежду.

Чезаре глубоко вздыхает, и сердце щемит от тоски по дому. Его пробирает дрожь, к глазам подступают слезы.

Когда он открывает глаза, уже созрело решение: здесь, на острове, нужно построить храм.

Март 1942

Островитяне

Роберт Макрэй первым узнает от Энгуса Маклауда, что пленные собрались строить на острове Шелки-Холм церковь – католическую часовню.

Они пьют пиво в керкуоллском пабе, сгорбившись в углу над кружками и слушая, как звенят от дождя и ветра стекла.

– На кой им часовня? – спрашивает Роберт, отхлебнув из кружки. – Ведь Бог, он повсюду, разве не так?

– То-то и оно, – поддакивает Энгус. – Говорил я майору Бейтсу, вконец обнаглели, молиться им негде!

– Что ж, зато хоть в нашу церковь бегать перестанут. Нил Макленни говорит, видел двоих – вместо того чтобы канаву рыть, в церковь ломились.

– Может, и так. И все ж таки неправильно это, а? Чтоб чужаки что-то на нашей земле городили. Я говорил майору Бейтсу: людям на острове это не понравится, пленные работать должны, а не церковь свою тут строить.

– Ну а он?

Энгус хмуро косится в свою кружку. Майор тогда на него наорал, обругал недоумком, который в трех соснах заблудится, и велел не встречать, он и так успел черт-те чего натворить. «Это все из-за тебя. Отправил бы тебя в Африку, под пули, но у тебя ж белый билет. За что – за тупость?»

– Велел не в свое дело не лезть, – отвечает Энгус.

– Слишком много он на себя берет, – кипит Роберт. – Говорю тебе, англичашки скоты. А материалы для часовни откуда возьмутся? Морем их доставлять, что ли? Будут немецким подлодкам мишени в Северном море!

– Он решил два барака разобрать да взять то, что осталось после стройки барьеров...

– Дамб.

– Ага, – ухмыляется Энгус, – дамб. А еще обрезки металла и прочий хлам. Он, кажется, думает, что итальяшки кузнечное дело знают. Кузницу им решил отгрохать, с горном. Каково, а? Представь, возьмут да оружия там понаделают. Я ему: рано или поздно они охрану на котлеты изрубят. Столько в них злобы скопилось, дай только повод!

– Верно! А он что?

Майор Бейтс тогда посмотрел на Энгуса, шевельнул бровями и спросил: «Предлагаешь тебя самого изрубить на котлеты?»

Энгус отвечает Роберту:

– Не согласен он со мной.

– Ну и дурак. Послушать тебя, так это не остров, а бочка пороховая.

Энгус кивает и машинально потирает шрам на запястье – полумесяц с зубчатыми краями. Он почти зажил и уже не ноет, но иногда чуть поблескивает на солнце, и Энгусу чудится тепло ее дыхания.

Роберт, глядя на Энгуса, спрашивает осторожно:

– Ты с ней разговаривал?

– Нет, причем давно. – Энгус вскакивает, опрокинув стул. За соседними столиками прислушиваются, но в его сторону никто не смотрит. Если Энгус не в духе, лучше отвернуться.

Осушив залпом кружку и стукнув ею по столу, Энгус выходит из бара – стул так и валяется на полу, а в открытую настежь дверь врываются ледяной ветер и дождь.

Март 1942

Констанс

Сквозь густой туман гроыхает мимо лазарета последний грузовик со стройматериалами для новой часовни.

– Ее первым же ураганом сдует, – говорю я Дот. – Правда?

Ответа нет; оборачиваюсь – Дот куда-то делась. Все утро она где-то бегаёт, а я волнуюсь.

Заглядываю за занавеску: ее койка пуста и аккуратно застелена. Башмаков Дот под ней нет. Я иду меж рядов коек, больные смотрят мне вслед. Ни один меня не окликает, но взгляды у них тяжелые, давящие. Я выхожу, не поднимая головы.

Бывшая койка Чезаре тоже пуста – вчера вечером его перевели обратно в барак, с кашлем, но уже без температуры. Он сразу пошел на поправку, как только майор дал добро на постройку часовни. Казалось, силы у него прибывали с каждой минутой – мускулы наливались, глаза блестели все ярче. Они с Дот засиживались допоздна, шептались. Она смеялась, наклоняясь к его кровати. Однажды я видела из-за занавески, как ее волосы упали ему на грудь. Видела, как он забрал их в пригоршню, скрутил, словно золотой канат, и от ужаса у меня сердце захолонуло. Вдруг он этим канатом ее задушит или дернет за него, потянет к себе?

Я шагнула вперед.

Он закинул волосы ей на плечо, разжал руку, и они заструились по ее спине. Она заправила прядь за ухо и улыбнулась ему.

И все равно страх разрастался у меня внутри. Он притворяется – знаю, притворяется. Все пленные строят из себя вежливых, воспитанных, но цена этому грош. Я-то знаю, если мужчине что-то от тебя нужно, он прикинется ласковым, заботливым. Знаю, как обманчива бывает теплота.

И вот я не могу найти Дот, а туман все гуще, на острове тысяча пленных, и скалы кругом. А уж о проклятии я и вовсе молчу.

Уткнувшись носом в стекло, смотрю в больничное окно, но ничего не видать, лишь туман клубится, жметя к холодному стеклу серым мохнатым зверем.

Проклятие, что лежит на нашем острове, в сущности, нелепое: мол, если здесь двое друг друга полюбят, то непременно кто-нибудь умрет. Сказки все это, твержу я себе, жалкие и глупые. Но все равно душа не на месте, и никуда не деться от мысли: кто-то умрет, а кто, не сказано. Один из влюбленных, но кто из них?

За спиной тихие шаги, оборачиваюсь – Бесс, глаза круглые, будто испугалась меня. Решила, должно быть, что я не в себе. Я приглаживаю волосы и заставляю себя улыбнуться.

– Ты Дот не видела? – спрашиваю я, стараясь, чтобы голос не дрогнул.

– Нет... Со вчерашнего вечера, с тех пор как вы с ней про часовню говорили... Нет, не видела.

– Спасибо. – Я отворачиваюсь, надеваю пальто, завязываю шарф.

– Нельзя идти в такой туман, – предупреждает Бесс.

– Надо ее найти.

– А скалы?! – Голос у Бесс срывается. – А ямы?! Кон, там опасно.

Бесс хватает меня за руку, но я вырываюсь.

Больные приподнимаются в постелях, смотрят на меня, тараторят по-итальянски. О чем? Что у них на уме? Спрятав руки в карманы, я плечом толкаю дверь. Зову Дот, задыхаясь на холодном ветру.

Вокруг клубится туман, поглощая все звуки. Звать кого-то в такую погоду все равно что кричать в подушку. Я задыхаюсь.

Вдруг вспоминается, как он ладонью зажимал мне рот. Кричи не кричи, никто не услышит.

А вдруг он где-то здесь, караулит меня?

Подступает тошнота; зажмурив глаза, сжимаю кулаки, так что ногти впиваются в ладони.

– Не до того сейчас, Кон, – говорю я вслух себе, туману, тому, кто мог здесь притаиться.

Заставляю себя идти вперед, считая шаги. Дальше чем в двух шагах ничего не видно, всюду клубится серая хмарь.

Я иду в сторону хижины – вверх по косогору, подальше от скал. В нашу хижину мы с Дот заглядываем редко, а когда я спросила, не перебраться ли нам из лагеря снова туда, Дот только головой покачала.

Поначалу, пока я болела, она говорила, что мне лучше побыть в лазарете. Но когда я поправилась, она все равно настояла, чтобы мы остались. Мы обе знали причину, хоть вслух об этом не говорили.

Всю дорогу меня не покидает страх: вдруг Дот зайдет в хижину без меня и найдет цепочку, которую я спрятала между кирпичами в кладке очага? Предвижу ее вопросы – как я буду на них отвечать? Разве повернется у меня язык ей соврать? От этой мысли кровь приливает к щекам, сердце колотится.

Порыв ветра ненадолго разгоняет туман. Впереди видна смутная тень – кто-то скорым шагом поднимается вверх по склону.

– Дот! – зову я сквозь туман. Тень не останавливается – наоборот, движется еще быстрее, а вскоре вновь наползает туман, и ничего уже не разглядеть. – Дот! – кричу я снова. И слышу затихающие шаги, будто кто-то бежит от меня прочь.

Я тоже пускаюсь бегом, щурясь от влажного ветра, потом раскрываю глаза пошире, но ничего не вижу. И не слышу. Ускоряю бег, а про себя молю, чтобы сестра остановилась.

Должно быть, она обиделась: накануне вечером рассказала мне про часовню, и мы повздорили. Еще две недели назад, когда Дот провожала Чезаре до конторы майора Бейтса, я заподозрила неладное. Пленные радовались непонятно чему, а Дот все время шепталась с Чезаре, и они смеялись. Он размахивал руками, а я смотрела и думала, до чего сильные у него руки, запросто могли бы убить Дот.

– Что он тебе рассказывает? – допытывалась я снова и снова, но она отмалчивалась.

А вчера вечером подметали мы с Бесс в лазарете, вдруг видим – за окном мчится грузовик, доверху груженный листовым железом и мотками проволоки, следом еще два, и у каждого в кузове по целому металлическому барaku.

– Что это везут? – спросила я у Бесс, думая, что она, как и я, ничего не знает.

– А-а, – бросила она небрежно, даже не повернув головы, – это для часовни.

– Для какой часовни?

Бесс оторвалась от работы:

– А Дот тебе не рассказывала?

Я дождалась вечера, когда мы задернули занавеску, что отгораживает наш закуток.

– Что ж ты мне до сих пор не сказала, что они здесь часовню строят? – спросила я строго.

– Думала, ты и так знаешь. – Дот отвела взгляд.

За занавеской кашлянул итальянец.

– Значит, они здесь надолго? Жить тут останутся?

– Не знаю, Кон, – ответила она ласково, протянув ко мне руки. – Ну а чем плохо, если они...

– Разве не понимаешь? Или понимаешь, но дурочку из себя строишь? Тебе хоть трава не расти, лишь бы *он* был тут.

Дот отпрянула, лицо ее вдруг посуровело.

– Ты о чем?

– Сама прекрасно знаешь о чем.

Она сглотнула, горло у нее дрогнуло. Если закрыть глаза, я представляю, как он хватает меня за шею. С прошлого лета, с того самого дня я столько раз смотрела в зеркало и различала невидимые отпечатки пальцев. Хватка его не сразу стала железной. Сначала-то он был ласковым – цепочку мне подарил, клялся в любви.

Я заморгала, напомнила себе, где я.

– Нельзя доверять Чезаре. Ты его совсем не знаешь. Не представляешь, что ему в голову взбредет...

– Я не ты, – ответила она.

И я поняла, что она хотела сказать: она не наивная дурочка, не даст себя обмануть. А значит, у нее хватит сил и ума не попасть в беду. И ничего плохого с ней не случится. А если все же случится, винить себя она не станет.

Я села на кровать, закрыла глаза. Лицо помертвело, жилы словно наполнились ледяной водой. Я сжалась в комок и обхватила колени, желая отгородиться от мира. Представила, будто я в раковине – сама мягкая, бесформенная, но под надежной защитой. И все равно не смогла удержаться от слез.

Дот обняла меня за плечи, но я словно окаменела. А вскоре легла спать. Я чувствовала, что Дот за мной наблюдает, но не пыталась с ней заговорить. И, как всегда, засыпая, снова вспомнила, как накрыла лицо матроса своим пальто. Наверное, я чудовище, раз оказалась способна

на такое. И тем более чудовище, поскольку иногда и для себя желаю того же. Безмолвия, покоя.

Просыпаюсь утром – Дот рядом нет.

– Дот! – стоя на холоде, кричу я в немую мглу. Она услышит, оглянется, прибежит ко мне. – Дот!

И вдруг нога попадает в ямку, и я падаю, подвернув лодыжку, царапая руки о мелкие камни.

С минуту лежу ошеломленная. Туман окутывает меня плотным одеялом, заглушая все звуки, кроме моего прерывистого дыхания. Все застыло, лишь грудь у меня вздымается.

«Она ушла».

Встаю, лодыжку огнем жжет, каждый шаг причиняет нестерпимую боль, но я ковыляю дальше вверх по склону, а когда не остается сил терпеть, опускаюсь на четвереньки. Ползу, царапая руки об острые камни и кусты дрока, чувствую, как тонкие брюки пропитываются влагой, по коленям течет что-то теплое – кровь.

«Нельзя бросать Дот здесь одну».

И тут я различаю силуэт в тумане. Человек. Мужчина, идет мне навстречу. И я знаю, кто это.

Нашел-таки меня. И мы здесь одни. Никто меня не услышит в тумане, зови не зови. Кричи не кричи.

Замираю, припав щекой к холодной сырой земле. Еле дышу, будто что-то давит на грудь, будто чьи-то руки вцепились в горло.

Все-таки зря мы покинули хижину, зря я понадеялась, что смогу работать в лазарете, рядом с Энгусом, ничем не рискуя.

Если затаиться, может быть, он меня и не заметит.

Открываю один глаз, другой.

Все кругом совершенно неподвижно, лишь туман клубится. И тишина. Никто не бродит в тумане. И все же мне не почудилось – я его видела, вправду видела. И может быть, он до сих пор здесь, высматривает меня.

Понемногу расшевеливаюсь. С трудом приподнимаюсь, встаю на четвереньки и ползу дальше, медленно-медленно. Царапаю колени о камни. Морщась от боли, поднимаюсь на ноги и едва дышу от страха: сейчас он меня схватит за плечо, вцепится в волосы.

Осторожно карабкаюсь дальше по склону. Прочь от лагеря, от лазарета. Прочь от этих людей.

Наконец из мглы выступает что-то темное. Поначалу его плохо видно в клубах тумана, но, приглядевшись, я вижу дом. Наш дом. Хижина. Здесь нам точно нечего бояться.

До того, как пропали наши родители, до истории с Энгусом те же чувства будил во мне наш голубой дом в Керкуолле – как увижу его, сразу становилось тепло на душе.

Тревога, что владела мной, чуть отпускает, и я с трудом взбираюсь на крыльцо, зову Дот, хочу ее обнять, попросить прощения, сказать, что я за нее очень боюсь, в этом все и дело.

Но хижина пуста, очаг давно не тоplen. Постель не смята.

Всхлипнув, вглядываюсь в густой туман, обрамленный дверным проемом, зову ее снова и снова, но мой крик тонет в тумане.

Ответа нет.

Дороти

Туман рассеялся, и к хижине я подхожу уже в темноте. Я сорвала голос, пока звала Кон. Ноги гудят, живот свело от голода. За весь день я не съела ни крошки. До самого вечера бродила вдоль обрыва и с замирающим сердцем вглядывалась в бурную воду, боясь увидеть среди волн ее мраморное лицо, рыжие волосы.

Делать нечего, решила вернуться в хижину, хоть вряд ли ее здесь застану, ведь новая кровля ей напоминает об Энгусе.

В сумерках хижина выглядит зловеще – не дом, а остов, как будто ни меня, ни Кон уже давным-давно на свете нет и земля забирает себе покинутое жилье. Но стоит приблизиться, из тени выступает наш дом, точно такой же, как несколько недель назад, когда мы отсюда ушли.

Фонарь у меня в руке льет зыбкий свет на щербатые стены. На столе пусто. Дотрагиваюсь до плитки – холодная. Значит, Кон не приходила.

Уже повернув к двери, слышу неясный звук, кто-то вздыхает в углу. Оборачиваюсь так резко, что огонек фонаря, дрогнув, чуть не гаснет.

На кровати под одеялом кто-то шевелится.

И сразу приходят на ум страшные легенды о нашем острове, в которые с такой готовностью верила Кон, – погибшие влюбленные,

неприкаянные души. А вдруг это Наклави – кентавр без кожи, который выходит из моря и своим дыханием насыляет на людей болезни и безумие?

Одеяло морщится, сползает – и в неверном свете фонаря чудовище превращается в Кон.

– Дот! Ты цела!

– Боже, Кон, как же ты меня напугала! Надо ж додуматься вот так сбежать!

Кон трет глаза, опухшие, будто от слез.

– Я тебя искала. Где ты была?

– В бараки ходила, проведать больных.

Взгляд Кон делается холодным, и у меня, вопреки всему, колотится сердце, внутри шевелится тревога, стыд. Из лазарета я ушла рано утром, когда Кон еще спала. Охранники уже привыкли, что я разгуливаю по лагерю, и когда я подошла к бараку Чезаре, никто и не думал меня останавливать. У двери я замешкалась, услышав шорохи. А вдруг они еще не одеты? И что подумают другие пленные, увидев, что я ни свет ни заря стою у порога, спрашиваю Чезаре?

Едва я собралась уходить, дверь открылась, выглянул один из пленных. Увидев меня, подскочил, крикнул что-то по-итальянски и, обращаясь ко мне, добавил: *Scusi!*

Я достала пузырек с таблетками, что прихватила из лазарета.

– Чезаре здесь?

(Надо ж было додуматься сюда прийти – глупость, да и только.)

Но итальянец оглянулся, позвал – и подошел, улыбаясь, Чезаре.

– Доротея! Выздоровела?

– Да, вот, принесла... – Я показала пузырек.

– Спасибо, но мне не надо. Мне лучше.

– Ну хорошо.

Товарищи за его спиной перемигивались, улыбались, и кровь бросилась мне в лицо.

– Ты заботливая медсестра, – сказал Чезаре.

– Спасибо.

Один из пленных что-то сказал по-итальянски, но Чезаре резко оборвал его, смерил сердитым взглядом.

(Боже, что они там говорят?)

– Мне пора, – вымолвила я. – Рада, что тебе лучше...

– Будем из бараков часовню строить, – сказал Чезаре, и лицо его просветлело. – Там, на холме. Пойдем посмотрим?

– Прямо сейчас? Но...

– Майор Бейтс мне разрешил. Велел охране меня отпустить смотреть на бараки, работать. Пойдем посмотрим.

Я заставила себя улыбнуться. Отказать ему было невозможно, да и не хотелось, но от меня не укрылись усмешки и шепот за спиной у Чезаре. Что решат его товарищи? Да еще и охрана увидит, как я выхожу из лагеря под ручку с пленным. Хоть майор Бейтс из чувства вины и многое позволяет пленным, все равно охранники станут думать по-своему.

Чезаре смотрел на меня и мрачнел на глазах.

– Не хочешь? Так и скажи. – Лицо его сделалось замкнутым, будто он узнал обо мне что-то новое, нехорошее и разочаровался во мне.

– Нет! – выпалила я. – Я пойду с тобой.

А теперь, видя точно такое же разочарование в глазах Кон, я понимаю, что не могу ей рассказать, как вышла сегодня из лагерных ворот рука об руку с Чезаре. Не могу рассказать, как взошла на холм с чужаком, с иностранцем, и затерялась с ним в тумане.

И говорю:

– Я отнесла лекарство Чезаре. Вернулась в лазарет, а тебя нет. Вот и искала тебя с тех пор. (Ведь это отчасти правда.)

– А-а, – тянет Кон и, по всему видно, не верит мне. А чуть погодя говорит: – Думаю, надо нам вернуться сюда, в хижину. – И задирает голову; губы у нее упрямо кривятся.

Фонарь мерцает, на стене пляшут тени.

– Ладно, – соглашаюсь я. – Ну так что, остаемся? А Бесс не хватится?

– Можем сходить завтра в лагерь. – Кон не сводит с меня глаз. Если я буду против, то она обрушит на меня шквал вопросов, на которые я не могу дать ответ. Захочет знать, где я на самом деле была утром.

Я не могу ей рассказать, как шла с Чезаре вверх по склону холма и шаги наши звучали в такт. Как обрадовалась, когда он сказал, до чего воодушевлены его товарищи строительством часовни. Как туман вокруг нас сгущался, а бараки все не показывались. И как я растерялась, не зная, куда сворачивать.

– Я заблудилась, – сказала я Чезаре, а в душе нарастал страх, сжимая горло. И непонятно, то ли это страх перед чужим человеком, то ли просто не понимаю, куда идти, вот и испугалась. Или испугалась, потому что... потому что мне хотелось затеряться с ним вдвоем. Хотелось... чего-то непонятного мне самой. И это желание огнем пробежало по телу.

Туман был всюду – перед глазами, в легких, – и тут Чезаре взял меня за руку.

– Постой, – сказал он. И пальцы его сплелись с моими.

Я заглянула ему в лицо. Струйки тумана вились меж нами.

– Боишься? – спросил он тихонько.

От страха у меня отнялся язык.

– Я и сам боюсь, – шепнул он.

Мы постояли так еще немного; вокруг курился туман, волны бились о дальний берег, а стук сердца отдавался у меня в ушах. Я чувствовала тепло его рук, их нежную силу.

Он слегка сжал мои пальцы и сказал:

– Пора возвращаться в лагерь.

Я кивнула.

– Он внизу, под горой?

Я снова кивнула, и мы двинулись под гору, в сторону лагеря. Шли молча. Он не выпускал мою руку и поглаживал пальцы, нежно-нежно.

Наконец сквозь туман проступила проволочная ограда, силуэт часового у ворот.

– Пришли, – сказала я.

Чезаре все не отпускал меня. Лишь в самую последнюю секунду, перед тем как часовой нас заметил и окликнул: «Стой, кто идет?» – он сжал на прощанье мои пальцы и выпустил руку.

Перед тем как вернуться в барак, он сказал:

– Будущую часовню посмотрим в другой раз, Доротея?

Когда я возвратилась в лазарет, пальцы еще хранили тепло его ладони.

Даже сейчас, когда мы с Кон разводим в хижине огонь, мне чудится, будто он держит меня за руку.

«Я и сам боюсь» – так он сказал.

Кон подбрасывает в очаг последнее полено, наклоняется, чтобы чиркнуть спичкой. И тут на шее у нее вспыхивает золото.

– Что это?

– Что? Ох! – Она поспешно прикрывает шею, натягивает ворот свитера до самого подбородка, пряча цепочку.

Мы стоим, глядя друг на друга. Пламя разгорается, лижет сухие поленья. Щеки у Кон пылают – то ли от жара очага, то ли от чего-то еще.

– Ничего, – отвечает она наконец. – Принесу еще полено.

Кон протискивается мимо меня за порог; слышу, как она идет за дом, к поленнице. Откуда у нее цепочка? Точно не от мамы досталась – побрякушек мама никогда не любила, а все кольца, что после нее остались, мы давно уже продали, в ту первую тяжелую зиму. Может быть, Кон где-то ее нашла или – страшно подумать – украла? Цепочка мне не знакома, зато знакомо выражение лица Кон. Точь-в-точь как бывало после ссор с родителями. Или как в тот раз в Керкуолле, год назад, когда она вернулась в наш голубой дом с разодранным подолом, с синяками на шее.

Стыд.

Слышу, как она прислонилась снаружи к стене, и представляю, как она всматривается в наползающую тьму.

Я прижимаю к стене ладонь, в том месте, где с другой стороны стоит она, и закрываю глаза. Пусть сквозь хлипкую стену, сквозь камень и штукатурку ей передастся от меня хоть немного мира и покоя.

Минута-другая, и Кон возвращается в хижину, но без полена. Пройдя мимо меня, начинает переодеваться ко сну. Краем глаза смотрю, как она стягивает через голову свитер.

Цепочки нет – не блестит. Теперь на шее у Кон алеют свежие ссадины, будто кто-то рвал когтями. Или будто моя сестра, стоя в темноте, пыталась содрать с себя кожу.

Чезаре

Впервые увидав бывшие бараки из листового железа, покореженные, изъеденные ржавчиной, Чезаре изо всех сил старается, чтобы улыбка не сошла с лица. Его и еще нескольких пленных, в том

числе Джино и Марко, освободили от работ в карьере, чтобы они составили список того, что им понадобится для строительства.

Все они смотрят на свою будущую «церковь». Возле ржавых барачных валаеся катушка колючей проволоки.

Охранник, что привел их сюда, тычет в проволоку носком ботинка. Молодой, белобрысый, новичок – его совсем недавно поставили отвечать за снабжение. Представился он просто Стюартом, но тут же, видно боясь показаться не в меру дружелюбным, прикрикнул на них: «Шевелись!» Когда Чезаре поймал его взгляд, он неуверенно улыбнулся, но сразу сурово сдвинул брови.

Однако вскоре чуть оттаял и, пока они поднимались вверх по склону, рассказал Чезаре про своих младших сестренок – их у него пять, без конца ссорятся, и еды на них не напасешься.

– Такие обжоры – одно слово, бакланы. Бакланы, черт их дери.

– Что значит бакланы?

Охранник удивленно покосился на Чезаре:

– Ну, знаешь, птицы такие. Прожорливые, заразы.

– Да. – Чезаре улыбнулся, не зная, про каких птиц речь, но радуясь мимолетной близости, когда по умолчанию считаешь, что собеседник тебя понимает. «Ну, знаешь, птицы такие».

В руке у Стюарта трепещет на ветру листок бумаги, Стюарт, растерянно хлопая глазами, тычет в катушку носком ботинка:

– И из этого вам церковь строить? Церковь – из хлама?

Чезаре кивает, но уверенности в нем нет.

– Вот что, – спрашивает Стюарт, – не кажется вам, что вас за нос водят?

– Так и есть, – говорит по-итальянски Джино. – Это же куча дерьма! Они за дураков нас держат.

– Мозги нам пудрят, – подхватывает Марко, – чтоб мы согласились для них укрепления строить.

Остальные хором вторят им по-итальянски, а Стюарт явно беспокоится, вслушиваясь в отрывистую чужую речь, приглядываясь к возмущенным жестам. Вот уже рука у него тянется к дубинке.

– Хватит! – говорит Чезаре по-английски, но не охраннику, а товарищам. – Хватит ныть. Мы просили место, где молиться. Вот нам место. На церковь оно не похоже – это не церковь. Здесь была тюрьма или что-то военное. Здесь, в бараках, темно. Мы-то с вами знаем, сами

в таких живем. Но... – Он поднимает руку – мол, не перебивайте. – Но мы сделаем это место прекрасным. Светлым. Войны здесь больше не будет. Здесь будет мир.

Все кивают, кое-кто улыбается. И вереницей идут они следом за Чезаре в темноту одного из барачков.

Как и в их жилищах, здесь холодно и гуляют сквозняки. Барак полукруглый, из гофрированной стали. Кое-где металл разъела ржавчина, потолок и стены в рыжих разводах. Воздух отдает чем-то терпким, горьковатым, точь-в-точь как в карцере, и сразу сердце сжимает ужас, со всех сторон напоздает холод, как предвестие близкой смерти.

Товарищи его изумленно озираются, и на их лицах Чезаре видит обреченность. Он и сам в отчаянии, но должен владеть собой. Если пленные будут недовольны, упадут духом, тогда новой забастовки не миновать. И опять все повторится: снова с утра их будут выгонять во двор, на холод, потом – в столовую, за куском хлеба с водой, и снова во двор, под дождь. Если опять будет бунт, то майор Бейтс, сколько бы ни мучила его совесть, не станет им больше помогать.

Этот домик – не просто часовня. Это жизнь.

– Слушайте! – призывает Чезаре. – Закройте глаза и слушайте!

Товарищи поглядывают на него с сомнением. Джино поднимает бровь, но Чезаре делает умоляющий жест. Все закрывают глаза. Даже охранник Стюарт и тот зажмурился, скрестив на груди руки.

В часовню врывается ветер с моря, свистит в щелях, завывает в ржавом потолке. Сначала высокая нота – когда задувает яростный порыв, потом низкая – стихает; снова высокая, еще выше, и опять низкая. Чезаре вполголоса напевает эти пять нот.

– Слушайте, – шепчет он по-итальянски. – Это же «Аве Мария»!

Остальные сперва не верят. Джино открывает было рот, но Чезаре, не дав ему и слова сказать, вновь выводит те же пять нот. Мелодия взлетает под самый потолок, отзываются эхом ржавые стены. И впрямь начало «Аве Марии»!

На лицах вспыхивают улыбки, и с новым порывом ветра пленные подхватывают пять нот, а следом и всю мелодию.

Ave Maria, gratia plena, ave dominus... «Радуйся, Мария, полная благодати, Господь с тобою...»

Даже Стюарт подпевает – хоть он и оркнеец, но откуда-то знает католическую «Аве Марию», которая для итальянцев означает дом.

Голоса сливаются в молитве, в зове, и у Чезаре слезы наворачиваются на глаза. Песнь льется, взмывает под самый потолок, наполняет все кругом. И этот ветхий ржавый барак, выброшенный осколок войны, вспыхивает вдруг красотой. Лица поющих светятся благоговением и надеждой. Наверное, все они, как Чезаре, мысленно видят родные храмы – просторные, благодатные. Блеск алтарей, высокие своды с великолепными росписями.

Есть в моэнской церкви над алтарем фреска, Мадонна с младенцем. Лицо Марии так кротко, взгляд лучится теплом и надеждой, как на открытке, что он носит в кармане.

Здесь, над алтарем, он тоже напишет Деву Марию, только похожую на Доротею. Под пение товарищей он представляет ее безмятежную улыбку, вспоминает, как вел ее за руку сквозь туман, как ее холодные пальцы постепенно отогревались в его ладони. С тех пор он ее не видел. Неужто отпугнул ее? Когда он держал ее за руку, в душу ему снизошел... покой. И точно так же покойно ему сейчас, когда и сам он, и все вокруг полнится музыкой – она льется из часовни, звенит в воздухе, разносится над островами.

«Молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей».

Но вот отзвучали последние слова, и они выходят на улицу, жмурясь от яркого света. Душа Чезаре будто омыта – за эти минуты, проведенные в церкви, утекла куда-то ярость, что скопилась в нем за долгие месяцы. У остальных тоже светлеют лица, они обсуждают друг с другом – и со Стюартом, по-английски, – какую прекрасную построят они часовню, частичку родины.

Стюарт берет за бумагу:

– Что вам понадобится?

Они перечисляют наперебой, сколько нужно будет мешков песка и цемента, сколько листов железа, досок.

– И краски, – добавляет Чезаре. – Мне нужна краска.

Стюарт записывает, пробегает список глазами.

– Майор Бейтс говорит, и лишний цемент со стройки барьеров, и все, что на кораблях в бухте найдете, – все ваше. – Он машет в сторону Скапа-Флоу, где с Первой мировой лежат потопленные корабли. – Но... – Стюарт мрачнеет, – краску тяжело будет достать.

Чезаре старается не выдать разочарования, хотя светлый храм в его воображении меркнет, сменившись мрачной, унылой постройкой, такой же серой, как барьеры.

Чезаре вымученно улыбается.

– Хорошо, – отвечает он. – Сначала цемент. Пока не красим.

На другой день вечером, сидя в ржавом бараке – будущей часовне, – они строят планы. Внутри, но у самого входа, им разрешили развести огонь, и не беда, что в будущую часовню ветром заносит удушливые клубы дыма. Они здесь вместе, вдали от своих тесных барачных, где вечно маячит страх: они боятся всего – охраны, чужих людей со всех уголков Италии, с кем вынуждены жить бок о бок; боятся погоды, боятся утреннего свистка, который выгоняет их на улицу, навстречу другим, еще худшим страхам.

Есть среди пленных один, уже немолодой, седовласый, чуть сутулый, – вчера он заглянул к Чезаре в барак и представился священником.

– Отец Оссини, – назвался он. – Говорят, вы часовню строите?

– Да, святой отец, – отвечал Чезаре.

– Вот что, – сказал отец Оссини, – я мог бы возглавить общину – или у вас уже есть священник? Готов и сейчас помогать.

– Строить? – Чезаре оглядел его с недоверием: тщедушный, согбенный, руки как палки, такого в карьер не пошлют.

– Нет, не строить, – отвечал отец Оссини, – но если вам материалов не хватает, могу надавить на майора. Злых священников все боятся. – И он подмигнул.

Чезаре весело засмеялся и заверил отца Оссини, что тот будет незаменим.

И вот отец Оссини здесь, сидит с ними рядом под сводами, гулками, словно раковина. Другие вначале его стеснялись, но радость сама так и рвется наружу.

Они развели в ведре немного бетонного раствора и по очереди мешают палкой. Вот Джино перестарался и пролил раствор Марко на башмаки. Сейчас Марко вспылит, раскричится, думает Чезаре, – но тот смеется и, хлопнув Джино по затылку, макает в раствор палец и ляпает ему на башмак. Казалось бы, тот же бетон, что и на стройке барьеров – та же вязкая серая жижа. Но здесь, где они хозяева, бетон тот же, а

настроение уже другое – шутки, смех. В углу Винченцо и Альберто начали класть слой раствора поверх ржавой металлической стены. Чезаре их предупредил, что без этого можно обойтись, потому что майор Бейтс обещал достать гипсовые панели для облицовки стен.

– Материалы привезут через две недели, а то и раньше, – сказал майор, избегая взгляда Чезаре.

С тех пор как Чезаре отсидел в карцере, майор не смотрит ему в глаза, и пусть он готов помогать с материалами, но всякий раз спешит выпроводить Чезаре из конторы. Когда Чезаре собирается уходить, на лице майора читается стыдливое облегчение. Лежа ночью без сна в бараке, Чезаре думает о том, что война уродует всех одинаково. Тюремщики страдают не меньше тех, кто в плену. Невредимым отсюда никто не выйдет.

В углу Винченцо и Альберто, перешучиваясь, разравнивают раствор на металлической стене, остальные сгрудились вокруг Чезаре, который набрасывает на листке контуры будущей часовни.

– Ну так вот, – говорит он по-итальянски, – два барака объединим, а сверху бетоном зальем. Фасад будет как у каменной часовни. А вы подумайте, какое бы вам хотелось убранство и как нам его соорудить из хлама.

– Алтарь нужен, – говорит Марко, – с решеткой.

– Сосуд для святой воды, – добавляет Джино, – и подсвечники.

Чезаре все записывает, а потом кричит Стюарту, задремавшему в углу:

– Сколько у нас будет железа?

Стюарт просыпается.

– Много. И железа сколько хочешь, и бетона.

Чезаре кивает, представив изящную кованую решетку, что будет отделять богато украшенный алтарь от остальной части часовни. Вот где он напишет Деву Марию, в самом центре. С порога часовни будет казаться, будто узорная ограда защищает Богородицу. Там она будет неувязима, недосягаема.

Конечно, если удастся раздобыть краски, Стюарт в это до сих пор не очень-то верит.

Под разговоры товарищей набрасывает он на бумаге эскиз. Линию подбородка, изогнутые в улыбке губы. Только вот глаза ему никак не даются. Дева Мария должна быть сама безмятежность,

умиротворенность; не должно быть в глазах у нее страсти, как у Доротеи, когда та на него смотрит. Неутолимой страсти, почти голода.

Закончив набросок и оставив глаза пустыми, он решает: если до завтра она не появится в лагере, он найдет способ улизнуть со стройки и отправится ее искать. Сам пойдет в хижину и поговорит с ней.

Констанс

Просыпаюсь от того, что под дверь пробирается луч бледного мартовского солнца – слабое обещание весны. Вот уже третьи сутки мы ночуем здесь, Дот и я, и спится мне с каждым разом все хуже. Каждый вечер я лежу без сна, прислушиваюсь, как с холма, из этой самой часовни, несется смех, стук, скрежет. Если все-таки удастся задремать ненадолго, меня будит мерный лязг лопат о камень, монотонный, надоедливый.

Дот тоже не спит, вздыхает; иногда, если доносится чей-то смех, она садится в постели. Порой, когда думает, что я сплю, она крадется к двери, приоткрывает ее и стоит, глядя в темноту. Я смотрю на ее силуэт. Она кажется такой хрупкой, такой сиротливой.

Днем мы не говорим ни об итальянцах, ни о часовне. Ухаживаем за овцами, за курами. Чистим очаг, собираем на берегу плавник на растопку. Нарезаем кирпичиками торф и приносим домой.

Дважды, тихими вечерами у огня, Дот говорит:

– Надо бы в лазарет сходить, проведать больных. – Говорит «лазарет», а подразумевает часовню, хочет повидать Чезаре. Меня не проведешь, за ней глаз да глаз нужен.

– Пока не надо, – отвечаю я оба раза. – Лазарет мне в кошмарах снится.

И она кивает, улыбается мне, но я чувствую, как она от меня отдаляется с каждым часом. Хочется ей сказать: не ходи. Хочется сказать: я за тебя волнуюсь.

Но если скажу, то она ответит: глупости, давно пора забыть тот случай, не все мужчины одинаковы. Боюсь, если она так скажет, между нами что-то сломается навсегда.

Просыпаюсь утром, а постель Дот пуста – значит, ушла в лагерь. Хватаю брюки, собираюсь за ней бежать, но слышу за дверью шорох и понимаю, что разбудил меня вовсе не луч солнца.

Свет больше не льется в щель, на крыльце кто-то топчется.

Резкий стук в дверь. Тук-тук-тук.

Застываю, не успев натянуть брюки, и стараюсь не дышать.

Тень шевелится. Скрип башмака. Энгус? Пришел меня искать? Заперта ли дверь? Где мне спрятаться? Куда смогу добежать? Под рукой железная кочерга, но не знаю, успею ли...

Тук-тук-тук!

Влезаю в брюки, пытаюсь не шуршать, и замираю неподвижно, поглядывая то на кочергу, то на подрагивающую тень под дверью.

– Доротея! – слышен голос.

Чезаре.

Стою неподвижно, в животе урчит от голода. Он уйдет, скоро уйдет. Пусть уходит. И тогда надо разыскать Дот, убедиться, что с ней все в порядке.

И снова скрип башмаков на крыльце. Луч света мелькнул и исчез, и – сердце обрывается, будто обрушилась лавина... Боже, Чезаре встал перед дверью на колени!

Вижу сквозь щель его пальцы – пальцы работяги, с обломанными грязными ногтями, – и опять поглядываю на кочергу. Раз, и все! Он ничего такого не ожидает. Я глохну от своих шумных вздохов и ненадолго переносюсь в прошлое, в те ночи, когда мы с Дот просыпались от страшных криков отца. Прижавшись друг к другу в углу детской, слушали его рыдания. Он никогда не рассказывал, что ему снилось – наверное, что он опять во Франции, в окопе. Бывает, ужас остается с тобой навсегда, въедается в плоть и кровь.

Вновь стук и шелест – Чезаре что-то подсунул под дверь. Записку. Я не двигаюсь. Не стану ее трогать. Это все равно что самому вломиться в дом. Мне трудно усидеть на месте, с каждым ударом сердца тянет закричать, или спрятаться, или броситься бежать, или...

Кочергой его, кочергой!

Скрип башмаков – он встает с колен.

Шорох – прижимается лицом к двери.

– Прости, – шепчет он, – если напугал.

Кому это он – мне? Или он чем-то напугал Дот? Потому она и просидела здесь со мной три дня? Боится его? Неужели он ее обидел? Что-то мне подсказывает: нет, быть такого не может. Она бы мне рассказала, я бы знала.

Со дна души поднимается ужас.

Накатывает чувство, будто чьи-то руки сдавили мне горло. Я стараюсь дышать как можно глубже, тень под дверью исчезает, и вновь пробивается в щель солнечный луч.

Два раза подряд досчитав до шестидесяти, я крадусь на цыпочках к двери, хватаю с пола листок.

На листке два наброска. Один – женское лицо, и хоть глаза не прорисованы, по линии подбородка и форме губ я сразу узнаю Дот. Пусть мы с ней двойняшки, но здесь ее со мной не спутаешь. Чезаре удалось передать мягкость ее облика, ранимость, которую она излучает, сама того не ведая. Другой набросок – две руки со сплетенными пальцами. Присмотревшись, вижу: одна из них женская, другая мужская. Ясно без слов, ее ладонь в ладони Чезаре. Просто удивительно, до чего у него рука большая, жилистая, а у нее маленькая – ее хрупкие бледные пальцы совсем спрятались в его ладони.

Выставляю перед собой руку, сжимаю кулак.

– Ох, Дот, – говорю я вслух, – что ты натворила!

В дрожь бросает при мысли, что она допустила такое – вскружила ему голову и очутилась полностью в его власти. И теперь он будет ее преследовать, как меня Энгус.

Надо было все ей рассказать. Предостеречь ее. Это все я виновата, я.

И, разорвав рисунок, я швыряю клочки в очаг, где тлеют угли. Шурую там кочергой – и вот они занялись, вспыхнули, почернели.

Все, их нет, лишь мое шумное дыхание да образы перед глазами, от которых я не в силах избавиться.

Мигом одеваюсь: застегнув брюки, натягиваю два свитера – хоть холода и отступают, но на дворе еще зима.

Поднимаюсь на ближний холм, направляясь в сторону лазарета. Не стану рассказывать Дот ни о рисунках, ни о приходе Чезаре, но мне надо ее увидеть, убедиться, что она жива-здорова.

Чуть не доходя до вершины, останавливаюсь, услышав мужские голоса.

Лязг, стук молотков, чей-то раскатистый смех. И сквозь шум и гам – песня.

Они на нашей стороне холма – как видно, пленные разгуливают где им вздумается. Хохочут, разговаривают, что-то затевают... А что они там затевают? Богу одному известно. Первая моя мысль – вернуться в хижину, запереться наглухо, дожидаться Дот и сказать ей, что мы должны немедленно уехать, куда угодно, хоть в Керкуолл.

Но песня все слышней и слышней. Мотив совсем простой, похож на одну мамину песенку.

*Из серебристых лучей
Сплету я тебе паутинку...*

Песня другая, но до слез напоминает мамину.

Надо было ее удержать, думаю я. Надо было удержать их обоих.

И вот я уже лежу на земле лицом вниз, подползаю к гребню холма, откуда хорошо видно их, пленников итальянцев, поющих знакомую песню.

Они устроились на земле кружком, возле двух барачков из листового железа. С виду не скажешь, что солдаты – разлеглись, как на пикнике с друзьями. Обычные парни.

Итальянец, что стоит в центре круга, склонился над чем-то. Он указывает на серый бетонный холмик рядом с собой, а итальянцы вокруг него гикают, кричат, хлопают в ладоши. Затем он меняется местами с одним из товарищей, и тот, зачерпнув из ведра раствор, ляпает его на серый холмик.

Что они строят?

Они вновь запевают, и чудится мне, будто горит костер, а у костра отец с друзьями, передают по кругу рваную рыболовную сеть и кружку пива. Мне нравилось убегать к морю и смотреть, как они чинят сети, лодки. В том кругу царил доброжелательность – кто бы там ни собирался, как бы они друг на друга ни ворчали в остальное время. Их объединяло общее дело – больше чем просто сеть или лодка.

И вот, припав грудью к мерзлой родной земле и глядя на пленников, я вдруг сознаю, как, должно быть, одиноко им на чужбине, вдали от

тех, кого они любят. И с новой силой чувствую свое одиночество – тянущую пустоту, как на месте вырванного зуба.

Дотрагиваюсь до горла, и опять мне не хватает воздуха, словно бы меня что-то – нет, кто-то – душит, и неважно, что кровоподтеки давно сошли. Но, наблюдая за пленными, я чувствую что-то еще, призрачное. Что-то лишнее. Или будто чего-то не хватает. След от цепочки, которую я закопала за хижинкой три дня назад.

Часть четвертая

*Мы никогда не находим того, к чему всей душой
стремимся.*

И это к лучшему.

*Джордж Маккей Браун, «Вне океана
времени»*

Апрель 1942

Чезаре

Кто-то зовет его по имени. Он снова дома, в Моэне, мчится сквозь лабиринт улочек к церкви, ищет, где можно укрыться от бомб. Улицы объяты пламенем, но он знает, что родные его в безопасности, ждут его в церкви. И Доротея почему-то тоже рядом. Она вновь его окликает, тянется к нему, трясет за плечо. Чезаре оборачивается, хочет взять ее за руку, обнять, но она ускользает.

Чезаре, вздрогнув, просыпается – над ним склонился Джино, хмурится, в темных глазах тревога.

– Нельзя здесь спать, в лагерь давно пора.

Чезаре потягивается, озирается. Уже стемнело, но он еще в часовне; стена, недавно обшитая гипсовыми панелями, холодит спину; на стенах он наметил карандашом контуры будущих росписей – вот будут у него краски, все засияет, как в роскошных соборах Италии!

– Пошли, – торопит Джино. – Из-за тебя мы оба влипнем.

Чезаре мотает головой:

– Майор Бейтс дал мне разрешение допоздна оставаться. Ничего не будет.

Джино ухмыляется:

– Ты у него теперь в любимчиках ходишь. Как достроим часовню, пойдешь с майором Бейтсом под венец.

– Полегче! Здесь меня дразнить опасно – слишком много железа под рукой.

Пол усеян ломом, что пленные натаскали со стройки и с полузатонувших кораблей в бухте. Здесь и обрезки листового железа, чтобы укрепить бетонный алтарь, и мотки колючей проволоки, из которой Чезаре делает скульптуру Георгия Победоносца со змеем, и старые консервные банки – сгодятся на подсвечники.

Возвращаясь с Джино в лагерь, Чезаре смотрит на звездное небо и гадает, какое небо сейчас в Моэне, над головой у его родных. Живы ли они?

Джино толкает его в бок:

– Видел сегодня подружку твою.

– Она мне не подружка, – отвечает ему Чезаре и с опозданием добавляет: – Ты про кого?

Джино беззвучно смеется.

– Она лом принесла, возле часовни оставила. Здоровенную железяку – похоже, с военного корабля. Говорит, на берегу нашла. Я ей предложил тебе отдать, но она не стала тебя дожидаться.

– Испугалась рожки твоей противной, – шутит Чезаре, но ему тяжело смеяться, тяжело прятать тревогу: Доротея его избегает с того дня, как он в тумане держал ее за руку. На записку не ответила, а в хижину он второй раз не пойдет – неправильно это, преследовать ее.

Раз-другой он мельком видел ее – или ее сестру – в лагере, возле лазарета, но не подошел.

Чтобы отвлечься, Чезаре с головой погрузился в строительство часовни. Стены уже полностью обшиты гипсом, из листового металла он сделает алтарную решетку. Стекла раскрасит под витражи, будет их не отличить от самых дорогих. Стоит ему вообразить, как сквозь цветные стекла льются лучи, на полу и на стенах пляшут зайчики, – и он мысленно переносится в другой мир. Он уже не в плену. Не болят натруженные мышцы, не сводит живот от голода. Он свободен, он у себя на родине, в церкви. А война и смерть где-то далеко-далеко, у других. Часовня будет островком мира.

На подходе к лагерю Джино тянет Чезаре за рукав, возвращает его на землю. У ворот стоит часовая, лицо его в тени, надо разглядеть, кто это. С недавних пор пленным стали больше доверять, их охотней отпускают из лагеря, но это слабое утешение, если на посту Энгус Маклауд. Уже дважды тот видел, как Чезаре возвращается из часовни ближе к ночи, и наутро гнал его в каменоломню.

На сей раз им везет: часовая на посту молоденький, растерянный – хоть и хватается за дубинку, но пропускает их без единого слова.

В бараке все уже спят. Продрогший Чезаре забирается под одеяло. В этом северном краю он вечно мерзнет и пытается отвлечься молитвой, просит у Бога, чтобы хватило ему мастерства построить такую часовню, какая видится в мечтах, молится о здравии близких. О том, чтобы еще хоть раз подержать за руку Доротею. Попросить у нее прощения, если он чем-то ее обидел.

Иногда перед сном он молится, чтобы кончилась война, но как представит, что он вернется в Италию, а Доротея останется здесь, – и перед ним разверзается пропасть. Без нее вернуться домой все равно что во тьму провалиться.

С утра на стенах барака изнутри серебрится иней. Зима затянулась, и Чезаре почти забыл, каково это – просыпаться в тепле. Он коченеет от холода, но залеживаться в постели ему не хочется. Его тянет в часовню, как и всех его товарищей по бараку. С улыбкой переглянувшись, они мигом одеваются и под тусклым солнцем шагают вверх по склону.

При виде часовни на гребне холма у Чезаре всякий раз дух захватывает. Пусть она лишь наполовину залита бетоном и пока скорее напоминает гигантский валун, он видит облик будущего храма – колонны у входа, которые будут встречать усталых путников, цоколь, фасад с карнизом. Видно ее будет издалека, с моря, что в войну, что в мирное время. Над входом будет барельеф – лик Христа. Чезаре покинет этот край, а он останется.

«Не могу я отсюда уехать без нее. А барьеры к зиме будут достроены».

Отгнав прочь эти мысли, он просит Джино и Марко готовить раствор для фасада. Работается здесь куда веселей и проворней, чем в каменоломне. Зайдя в часовню, Чезаре продолжает белить серые панели. Кое-где он закрашивает еле видные карандашные наброски. Замазывает контуры ястреба, льва, вороны. К чему они здесь, пока нет красок?

Алтарь будет готов сегодня – Альберто и Аурелиано, склонившись над ним, слой за слоем разравнивают раствор. Улыбнувшись Чезаре, они продолжают работать. Оба погружены с головой, стремятся создать прекрасное. Из карьера долетает дальнейшее эхо нового взрыва.

Над алтарем нарисовано карандашом женское лицо. Черты безмятежны, только глаза пылают огнем. А волосы Чезаре представляет длинными, рыжими. Он заносит над рисунком кисть, готовясь его замазать белым, но одергивает себя. Разве можно ее вымарать, будто ее и не было никогда? Она где-то здесь, на острове. Может быть, вспоминает о нем хоть изредка.

Чуть позже, после того как Альберто и Аурелиано покрывают алтарь последним слоем бетона, отец Оссини приводит в часовню остальных.

У алтаря Чезаре расставил подсвечники. Издали видно, что они украшены тонкой резьбой. Чезаре постарался на славу, в подсвечниках мерцают свечи, и ажурные тени колышутся на беленых стенах. Лишь при внимательном взгляде видно, что это бывшие консервные банки.

Пленные гуськом заходят в часовню и молча, без привычных шуток, любуются янтарными бликами на белоснежных стенах. Сам алтарь еще не окрашен, бетон не просох, но лепнина смотрится изящно, напоминает створки раковины; алтарь покоится на двух бетонных колоннах, как и задумал Чезаре. Он смотрит на Альберто и Аурелиано: оба покраснели, глаза сияют.

На родине, в Италии, сейчас рушатся соборы, горят поля, но здесь, на краю света, они своими руками создают святыню.

Отец Оссини выходит вперед. Остальные все как один опускаются на колени.

Чезаре преклонил колени на жестком и холодном бетонном полу, боли он почти не чувствует. Горят свечи, отсветы падают на лица его товарищей, все смотрят вверх, утопая в сиянии.

Отец Оссини начинает мессу; для Чезаре знакомая молитва как глоток воды в пустыне. Устремив взгляд вверх, повторяет он слова, что помнит с самого детства, о воскресении Христовом, – слова, что дают надежду на жизнь вечную.

Над склоненной головой отца Оссини в мерцании свечей будто оживает карандашный портрет Доротеи. И в минуту всеобщей радости на Чезаре накатывает вдруг отчаяние.

Вместе с остальными он выходит вперед и снова опускается на колени для принятия святых даров – отец Оссини припас им по кусочку хлеба и по глотку разведенного вина.

«Тело и кровь Христовы».

И этот черствый хлеб с разбавленным вином почему-то согревает, придает сил. Чезаре смотрит на Джино – у того на щеках слезы. У самого Чезаре тоже мокрое лицо. Голос у отца Оссини прерывается; дрожащей рукой он крестит Чезаре.

«Тело и кровь Христовы».

Отец Оссини благословляет Чезаре, коснувшись его лба, но Чезаре не спешит встать с колен. Он слышит, как друг за другом поднимаются остальные, выходят из часовни, как постепенно стихают их голоса – они спускаются в сумерках к лагерю, идут в столовую, где их ждет ужин.

Чезаре будто прирос к месту. Эта минута кажется чудом. Как удалось им здесь, на острове, построить дом Божий? Как решились они создавать прекрасное, когда мир вокруг рушится?

Раз случилось одно чудо, значит, можно ждать и другого, рассуждает Чезаре. И, склонив голову, думает о Доротее. Чего он хочет, он и сам не знает, но вновь и вновь твердит ее имя – сначала про себя, а потом и вслух, шепчет его, как молитву, стремится к ней всеми помыслами, поклоняется ей, словно божеству, словно идолу.

Все так же стоя на коленях, спрятав лицо в ладонях, он пытается отдышаться.

Шорох у двери, вроде бы чьи-то шаги. Затаив дыхание, Чезаре садится.

– Джино?

Вздых – и все, тишина. Чезаре вскакивает, бросается к выходу, звенит под сводами часовни эхо его шагов.

– *Fermare!* Стой! – кричит он с порога.

Но вокруг никого, лишь раскрытая черная пасть надвигающейся ночи, а вдаль, у подножия холма, мерцают лагерные огни. Ему кажется, будто среди холмов он как в темном море, а часовня – единственное, что его держит на плаву.

– *Dove sei?* – шепчет он. – Ты где?

Ночь отвечает ему молчанием. Должно быть, шаги ему померещились или какой-то зверек прошуршал.

Но едва он собирается вернуться в часовню, чтобы погасить свечи, как замечает что-то на земле.

Он наклоняется. Три баночки, а в них что-то налито.

Чезаре берет их в руки – теплые, словно свежие яйца, только что из-под несущки. У алтаря, в мерцанье свечей, открывает их – краски. Темно-желтая, ярко-красная, небесно-голубая.

Первое его побуждение – пасть на колени, возблагодарить Господа за чудо. Но он тут же вспоминает шорох на крыльце, легкий вздох, удаляющиеся шаги.

«Доротея».

И, поднося баночки к губам, Чезаре оглядывается и представляет, как засияют яркими красками своды часовни, как нарисует он птиц и зверей, как оживет все вокруг. А в центре, над алтарем, напишет он лик Девы Марии в кругу ангелов, с вдохновенным взглядом, устремленным на чудесное дитя в ее объятиях.

Ночь холодная, но Чезаре совсем не чувствует холода, когда берется писать, начав с синей драпировки вокруг херувимов.

«Раз случилось чудо, значит, жди и другого?»

Он знает из лекций художника, с которым вместе расписывал церковь в Моэне, что синяя краска когда-то была самой редкой. *Blu oltremare*^[10] делали из порошка драгоценной ляпис-лазури. Стоила она так дорого, что Микеланджело не окончил картину «Погребение Христа» – не хватило синей краски.

А здесь, в холодном и диком северном краю, – вот так чудо! – в руках у Чезаре баночка голубой краски.

«Раз случилось чудо...»

Легкими мазками Чезаре наносит краску на панели. Стена будто светится изнутри.

Он весь дрожит. Надо найти способ с ней поговорить, сказать ей спасибо. Надо ее разыскать.

Островитяне

Шестнадцатое апреля – день святого Магнуса Оркнейского^[11]. Чуть ли не весь Керкуолл стекается в собор, почтить память мученика. В храме из красного песчаника давно уже не собиралось столько народу, даже до войны, а в последние годы и подавно. За окнами изморось, воздух в соборе влажный, и когда священник читает «Отче наш», от промокшей одежды прихожан поднимается пар, устремляясь ввысь, к окну-розетке под куполом.

– Мы помним наших павших сыновей, – говорит священник. – И тех, кто пропал без вести, – пусть они вернутся к нам.

«Аминь», – подхватывает паства. Некоторые из прихожан косятся украдкой на Джона О'Фаррелла – его сын Джеймс, авиаинженер,

месяц назад пропал без вести. Состраданию и ужасу, что их земляк мог погибнуть в бою, сопутствует тайное облегчение.

«Это не мой сын. Спасибо тебе, Господи, не мой».

Джон низко склонил голову – в волосах у него новая седина, лицо изрезали новые морщины. Взятых в плен немцы отправляют в свои лагеря. Что их там ждет, неизвестно, их судьбы обходят молчанием.

После завершения службы к Джону подходит Мэри Флетт, начальница почтового отделения, со словами поддержки. Вид у нее тоже измученный. Ночами ей не спится, перед нею встают полные надежды лица матерей, приходивших на почту узнать, нет ли весточки от сына. Мэри отдавала им телеграмму за телеграммой, и знакомые черты на глазах искажались горем. В темноте она видит мертвые восковые лица тех ребят – многих она знала с детства. Вплоть до прошлой недели ей снился ее сын, Робби, штурман. Снился не мертвым, а маленьким, девятилетним – во сне он смеялся над собственной шуткой: «Под каким кустом сидит заяц, когда дождь идет? Под мокрым!»

Робби всегда был выдумщик, мастер рассказывать истории. Любил паясничать, хохотал заразительно. С пятнадцати лет вставал по воскресеньям пораньше, чтобы, украсив поднос, принести ей завтрак в постель. То розу положит, то венок из водорослей – каждый раз приносил ей два кусочка поджаренного хлеба и чашку чая на украшенном подносе.

На прошлой неделе Робби вернулся домой, хромая. Худой, с потухшим взглядом, слова из него не вытянешь. По ночам, когда давно пора спать, слышно, как он плачет и бьется о стену – ногой? головой? Невозможно представить, чтобы он засмеялся.

Мэри трогает Джона за плечо. Джон, коснувшись ее руки, страдальчески улыбается:

– Пожелай от меня Робби всего самого доброго. – Слова звучат фальшиво, и оба это сознают. У Джона сын пропал без вести, но и Робби тоже отсутствует. Что-то важное потерял он в небе над Германией, когда летел бомбить город.

На выходе из церкви путь Джону преграждает Энгус Макклауд:

– Я с вами поговорить хотел, о часовне, которую они строят.

– Сейчас некогда, Энгус. Неужели других развлечений нет? Лучше кого-нибудь другого помучай. Ребенка, к примеру, или

животину бессловесную.

– Но вы часовню-то видели? Я с кем только ни говорил, и все со мной согласны: блажь это, да и только. Они же здесь в плену...

– Они и без тебя знают, что они здесь в плену, и родные их тоже знают. Посторонись-ка, а?

Джон спускается с крыльца, но Энгус хватается за рукав:

– Они часовню расписывать взялись! Один на стенах рисует людей, птиц, зверюшек всяких – карандашом наметил, я сам видел. Представьте, сколько всего им нужно будет – краски, белила. Не говоря уж о том, что их кормить-поить надо, и чего ради, спрашивается? Часовню они строят, а должны строить барьеры!

– Барьеры почти готовы, насколько я знаю. Самое позднее через полгода их достроят, а пленных отсюда увезут. А если они тебе мешают, поговори лучше с майором Бейтсом.

Энгус опускает взгляд. На улице уже не моросит, а льет как из ведра.

У Джона вырывается смешок:

– Вид у тебя, будто с майором Бейтсом ты уже говорил и получил отлуп.

Энгуса передергивает.

– Я не... Не в одной часовне дело. А в том, что пленные с девушками...

Джон, вдруг помрачнев, поднимает руку:

– О девушках этих вообще не заикайся, даже думать о них не смей. Может быть, кто-то о тебе лучшего мнения, ну а у меня ни времени, ни желания нет делать вид, будто я тебе доверяю. Девушек не трожь, а не то хуже будет. Понял?

– Но я...

Джон становится к Энгусу вплотную, нос к носу:

– Не испытывай мое терпение.

Энгус пятится, смотрит в сторону.

Вокруг них собралась кучка людей. Совсем уж близко никто не подходит, не вмешивается, но многие прислушиваются.

Когда оба уходят, ненадолго воцаряется тишина, затем кое-кто возвращается в собор и пережидает дождь. Некоторые согласны с Энгусом: не часовня, а безобразия одно – разукрашена аляповато, всюду росписи католические. Собор Святого Магнуса с двенадцатого

века стоит, а в нем никаких росписей вовсе нет. На стенах из красного песчаника высечены имена моряков и названия кораблей, погибших за девятьсот лет, а рядом – череп, пустые глазницы зияют. Здесь веет прохладой, благодатью и древностью, которую не в силах постичь людской ум.

– Их часовня долго не простоит, – заявляет Нил Макленни. – Слышал я, строили ее из ржавых жестянок да кусков картона.

Все кивают, и ни слова о бетоне. Ни слова о том, что иногда по ночам, если посмотреть в сторону острова Шелки-Холм, можно различить во тьме слабый огонек.

Май 1942

Дороти

По вечерам Чезаре при свете фонаря расписывает часовню. И каждый вечер я за ним наблюдаю, притаившись в тени. Видит ли он меня, не знаю. Изредка он замирает, оборачивается. Однажды он отложил кисть, склонил голову и что-то зашептал – наверное, молитву, но мне послышалось мое имя – по крайней мере, я так надеялась.

Я встрепелась, стараясь не дышать, и стала прислушиваться, не произнесет ли он мое имя снова. Он молчал, но плечи поднимались и опускались, будто он что-то говорил про себя.

При всяком удобном случае я стараюсь что-нибудь для него принести и оставить возле часовни: собранный мною лом, краски, которые я научилась делать из луковой шелухи, лишайников, коры. Я завариваю чернику и бузину, пальцы от них синеют и долго не отмываются, – вспомнила, как в детстве мама нам делала краски. Родом она была с острова Фэр-Айл, что к северу от нас, и чего только не делала из растений – краски, лекарства, даже яды.

Иногда дверь в часовню закрыта, и я подглядываю в одно из окон, вырезанных в металлических листах. Если идет дождь или дует северный ветер, я дрогну в темноте, покуда совсем не окоченею, а вернувшись в хижину, пристраиваюсь поближе к потухшему очагу и пытаюсь согреться остатками тепла и не стучать зубами, чтобы не разбудить Кон.

Уже не раз я предлагала ей вернуться и работать со мной в лазарете, но она все больше замыкается в себе. Не понимаю, почему время не излечило ее страх, а наоборот. Это как старая рана – с виду вроде бы зажила, а внутри затаилась инфекция.

– Сходи со мной хоть разок, тебе сразу же полегчает, – уговариваю я.

– Я так устала, – вздыхает она, и это правда: она бледная, изможденная. – Лучше завтра. – И расцарапывает шею до крови.

Спит она подолгу и все равно выглядит издерганной, подскакивает от каждого шороха. Наверняка догадывается, что я хожу в часовню, но ни о чем меня не спрашивает. Не могу смотреть ей в глаза, когда ухожу. И когда возвращаюсь. Мне страшно, что она попросит меня остаться. И страшно, что все равно уйду, даже если попросит.

Близится май, скоро праздник Белтейн^[12]. В этом году не будет ни народных гуляний, ни костров – войне сопутствуют безмолвие и мрак, – зато хотя бы погода налаживается. Стихает ветер, оживает земля, и солнце своими лучами, будто тонкими пальцами, пронзает облака, прибавляя светлых часов.

Много дней Чезаре красил коричневой краской фасад, рисуя плитки, а в один из майских вечеров стал расписывать беленые стены возле алтаря. Я наблюдала за ним в дверную щелку. Он всегда стоит ко мне спиной, и вся его поза дышит глубокой сосредоточенностью. Я так давно за ним слежу, что знаю наизусть все движения его рук, но когда из-под его пальцев выходит иссиня-черная воронья голова и изящный изгиб шеи, у меня перехватывает дыхание.

К красоте я привыкла, она окружает меня всю жизнь: позолоченные солнцем морские волны; багряный осенний вереск, золотой дрок; пара ястребов-тетеревятников, кружащих в небесной сини. Но я никогда не видела прежде, чтобы кто-то вот так, играючи, создавал прекрасное. Обмакнув кисть в белила, Чезаре рисует блики в черных вороньих глазах, добавив взгляду глубины, и теперь птица будто смотрит прямо на меня.

И наряду с восторгом во мне разрастается желание – уносит, будто морской прилив, растекается по жилам; в этот миг мне все равно, что будет потом.

Я переступаю с ноги на ногу – чтобы скрипнули ботинки. Пусть он услышит. Чезаре отрывается от работы, откладывает кисть.

– Доротея? – спрашивает он, не оборачиваясь. Своды часовни отзываются эхом: тея, тея, тея... Это уже не мое имя, даже не слог из него, но я выхожу вперед, в круг света от фонаря.

– Чезаре! – Произнесенное вслух, его имя кажется чужим. Столько раз я шептала его в темноте, но сейчас оно звучит непривычно.

С натянутыми нервами захожу в часовню и, избегая его взгляда, смотрю вверх.

Часовня – настоящее чудо: каждая плитка тщательно прорисована и выглядит объемной. И потолок, пусть и не похожий на церковный купол, кажется высоким, так что дух захватывает от этой высоты. А на белой стене у алтаря намечены карандашом контуры птиц, зверей, ангелов.

– Красота! – ахаю я. – И не догадаешься, что стена гладкая, – как тебе удалось вот так выписать плитки? Как настоящие!

– Еще не готово, – отвечает Чезаре. – Но давай покажу. – Обмакнув кисть в коричневую краску, он наносит мазок в центре одного из прямоугольников – будущих «плиток». – В середине должно быть темнее. А по краям светлее, с белым. Ну-ка, попробуй.

Протянув мне кисть, он кивком указывает на стену. Дотрагиваюсь кончиком кисти до прямоугольника, который начал красить Чезаре. Чувствую, как он на меня смотрит, как кровь приливает к щекам. И не смею поднять глаза. Вот дрогнула рука – и на плитке осталась безобразная клякса.

– Ой! Я все испортила.

– Нет. – Чезаре с улыбкой забирает у меня кисть и одним ловким движением замазывает мою ошибку. – Видишь?

Вернув мне кисть, он смотрит, как я дальше крашу плитку, – получается не ахти.

– Давно тебя не видел, – говорит он ласково. – Прячешься от меня?

Слова застревают в горле. Набираю побольше воздуха. Нетвердой рукой обвожу светло-коричневым контуром плитку.

– Я не прячусь. Я занята.

– Занята прятками. – Чувствую по голосу, что он улыбается, и улыбаюсь в ответ, пусть руки-ноги дрожат, а под кожей словно пробегает электрический ток. – Я, наверное, тебя расстроил, – говорит Чезаре. – Обидел.

– Нет! – Поворачиваюсь к нему.

В глазах его тьма, на лице застыло страдание. Я отвожу взгляд.

– Ты меня не обижал, – говорю я. – Я просто...

С другого берега пролива, из Керкуолла, слышен визг сирены: воздушная тревога. Чезаре, тут же потушив светильник, тянет меня за

руку под бетонный алтарь. Дышать тяжело, а он близко-близко, и от него исходит сила. Это и успокаивает, и вселяет ужас.

Дверь часовни открыта, и видно, как внизу, в лагере, один за другим гаснут огни. Остров – темная громада, а на воде дрожат белоснежные лунные блики.

Воздушную тревогу у нас объявляли считанные разы: после торпедной атаки поступил приказ из Лондона разместить вдоль побережья артиллерийские батареи, чтобы защитить весь архипелаг – военные корабли в заливе, построенные укрепления, жителей.

Сквозь вой сирены я пытаюсь уловить гул самолета.

– Какой звук издает бомба на лету? – спрашиваю я сдавленным голосом. – Услышим мы ее, перед тем как упадет?

– Нас бомбить не будут, – отвечает Чезаре спокойно, уверенно.

– Кон одна, в хижине! Пойду к ней.

Порываюсь встать, но Чезаре говорит:

– Ничего с ней не случится.

– Она от страха умрет!

– Выходить сейчас опасно, – говорит Чезаре. – Как замолчит сирена, тогда можно идти.

Знаю, он прав, но у меня душа не на месте. Стараюсь дышать ровно.

Чезаре предлагает:

– Если хочешь идти, я с тобой.

Качаю головой, но спохватываюсь: темно же, меня не видно.

– Нет, нельзя, опасно.

– В Африке, в пустыне, – начинает он вполголоса, – было страшно. Стреляют, убивают. Я не хотел воевать, а надо. Но страшно. На то и война, чтоб бояться.

Меня он по-прежнему не видит, но, может быть, чувствует, как я киваю, слышит, как я задерживаю дыхание, пытаюсь уловить его слова.

– Надо быть спокойным, – продолжает Чезаре. – Если не успокоюсь, то, может быть, что-то сделаю не так. Может быть, меня убьют. И вот как я успокаиваюсь. – Моя ладонь безвольно лежит в его руках. Он переворачивает ее, кладет на середину ладони палец.

Сердце екает, не смею шелохнуться.

– Я представляю, – объясняет Чезаре, – горы в Моэне. Вспоминаю. – И рисует на моей ладони волнистую линию. Меня

пробирает до мурашек, но не от холода. – А потом представляю, – продолжает Чезаре, – деревья, птиц. Вспоминаю. – Он рисует пальцем на моей ладони стройные раскидистые деревья, на запястье – птицу в полете. – *Albero*, – произносит он, – *uccello*. (Должно быть, по-итальянски это «дерево» и «птица».)

Он протягивает мне свою ладонь:

– Нарисуй что-нибудь. Вспомни.

Чуть поколебавшись, я рисую контуры пещер, что на севере острова. Рисую тропинку, что ведет к ним. Внизу – море, что бьется о скалы.

Сирену больше не слышно – то ли смолкла, то ли это мы от всего отгородились. Кожа у него теплая. Я протягиваю руку, касаюсь его лица, шеи.

Щекой чувствую его дыхание, а потом его губы в темноте находят мои.

– Доротея. – Мое имя слетает с его губ легким вздохом.

Констанс

Май, все короче становятся ночи. Солнце с каждым днем все выше, его свет проникает всюду. Даже в хижине у нас светло, тени попрятались по углам, теперь уже не подремлешь, даже если с утра до вечера не встаешь с постели.

И, с тех пор как прибавился день, Дот уходит все чаще и пропадает все дольше. Даже если я ее прошу побыть со мной, она, дождавшись, пока я усну, – или решив, что я уже уснула, – тенью выскользывает из хижины. Отдернув с окна парусину, я смотрю, как она спешит в сторону часовни. И я знаю, к кому она ходит – к нему.

Иногда перед самым ее уходом я делаю вид, будто только что проснулась, и слезно молю ее задержаться, хоть ненадолго. И дело не только в том, что с нею мне спокойней, что, когда она рядом, тьма отступает, а солнце светит ласковей. Главное, если она со мной, я знаю, что с ней ничего не случится. Помню, как мама, бывало, перед штормом притворялась больной, чтобы отец остался дома, не выходил в море. Согнется в три погибели и держится за живот, но если

встретится со мной взглядом, то улыбнется мне украдкой, чтобы я знала: это она его оберегает. И всех нас заодно.

Это было в нашем детстве, еще до того, как мама всерьез слегла. До того, как боль приковала ее к постели. До того, как им с отцом пришлось сесть в лодку и плыть в больницу за сильными лекарствами.

Запереться бы в хижине вместе с Дот. Или перебраться с ней на какой-нибудь пустынный северный остров.

В одно майское утро, когда уже миновал Белтейн без костров, я притворяюсь спящей, чтобы Дот ничего не заподозрила. А едва дверь закрывается за ней, вылезая из постели, уже одетая, и иду следом.

Холмы зеленеют так ярко, что больно глазам. Щурясь, поднимаюсь на ближний холм, где из бывших бараков строят часовню. Если не найду ее там, пойду в лазарет.

Но, взойдя на холм, я так и ахаю.

С прошлого раза мне запомнились две ржавые развалюхи из листового железа – казалось, ветер дунет и унесет. Теперь из них построили новое здание – прекрасное, нездешнее. Крыша покатая, будто выросла из земли, а бетонный фасад словно перенесен сюда откуда-то из чужих краев. Вспоминаются южные церкви с газетных фотографий, те самые, про которые говорили по радио, что их бомбят, жгут, крушат, – а эта невредима и прекрасна. Несколько итальянцев белят фасад, и под ярким майским солнцем часовня вся так и сияет.

Дот нигде не видно, но уходить почему-то не хочется. Ноги сами несут меня к часовне, к строителям, которые белят стены, переговариваясь меж собой по-итальянски.

Ничего они мне не сделают. Напоминаю себе о пленных в лазарете – ни один меня пальцем не тронул.

На недавно побеленную стену ложится моя тень, и итальянцы умолкают, оборачиваются, выронив кисти. Они щурятся от солнца, и на их лицах в этот миг отчетливо читается страх.

Но испуг тут же сменяется дружелюбием, будто они меня наконец узнали.

– *Bella!*^[13] – восклицает один. – Все хорошо? Где Цезаре потеряла?

– Я... – Ничего не понимаю. Слова застревают в горле: меня приняли за Дот и рады, по всему видно – приветливо улыбаются, суют мне в руку кисть.

– Плитки у двери мы еще не красили, – говорит один, по-прежнему улыбаясь. – У тебя хорошо получается.

Передо мной распахивают дверь, и я с кистью в руке захожу в часовню.

Смотрю по сторонам, и дух захватывает. Я ожидала, что внутри все серое, холодное, унылое, как в бараках, где живут пленные, туда я заглядывала накануне их приезда: холодная рифленая сталь, голые доски и больше ничего; задувает в невидимую шелку ледяной ветер, пахнет сыростью и ржавчиной.

А часовня вся залита светом. Лучи солнца льются в четыре окна, отражаются от белых стен у алтаря и нарисованных плиток возле двери. Вокруг алтаря пестреют неоконченные росписи: персиковый херувим в синем шелку, ворона, которая крыльями, будто руками, держит раскрытую книгу. Под куполом в васильковом небе парит белая голубка.

– Как красиво!

Итальянцы бросают на меня странные взгляды, и я спохватываюсь: они же принимают меня за Дот, а Дот к этой красоте давно привыкла. И сердце разрывается от внезапной боли: жизнь проходит мимо, а я сижу взаперти, перебирая воспоминания. Не знаю, как убежать от себя.

За дверью слышны шаги, входит Дот, следом Чезаре. Дот, увидев меня, ахает.

– Кон! Что ты здесь... – И, глянув на Чезаре, вспыхивает. На шее у нее красные пятна – следы от пальцев? Но глаза у сестры искрятся, давно я не видела ее такой счастливой.

Меня мутит.

Воспоминания накатывают волной. Одна и та же картина преследует меня и ночью, когда я пытаюсь уснуть, и утром, когда просыпаюсь, подстерегает в паузе между вдохом и выдохом. Я словно переносусь в прошлое.

Я снова с Энгусом, он держит меня за руку. Он водил меня поужинать в кафе, а потом, уже в сумерках, – прогуляться по керкуоллской набережной. Неделю за неделей я оплакивала родителей и на приглашения Энгуса отвечала отказом. Мы были едва знакомы. В школе он учился на два класса старше, был заводилой, вспыльчивым, обижал младших. Внезапный его интерес ко мне смущал и в то же

время льстил. Тогда я еще не знала, что он нюхом чует сломленных людей.

Дот не раз предостерегала меня: не ходи. Но в нашем керкуоллском доме было душно от воспоминаний, а горе меня подкосило. И в тот вечер, когда в дверь постучался Энгус и позвал с собой, я ответила «да». Что тут такого?

На прогулке он мне подарил золотую цепочку. Надел мне на шею, застегнул, мимолетом коснувшись кожи. Внутри у меня что-то оборвалось, я не смела шелохнуться. Но когда он предложил пройтись вдоль берега, у меня язык не повернулся отказать, ведь он ко мне со всей душой – как можно на доброту ответить неблагодарностью?

Пляж, темный и безлюдный, был далеко от пристани. Энгус разулся, спрыгнул на песок.

– Иди сюда. – Он подал руку, а я не знала, как ему отказать. И не сопротивлялась.

Он обнял меня за талию. Его рука мне мешала, не давала дышать, но из вежливости я не посмела его оттолкнуть.

Мы уходили вдоль пляжа все дальше от огней пристани, не слышно было ни звука, кроме шороха волн, а лицо Энгуса, обращенное ко мне, при свете луны казалось мертвенно-бледным.

Сердце у меня сжалось. Когда он меня облапил, я уперлась обеими руками ему в грудь. Он поцеловал меня в шею, туда, где кожу холодила цепочка. Губы у него были теплые, но на коже остались влажные холодные следы; он коснулся губами моих губ.

Я застыла, замер и он.

– Ты что, в кошки-мышки со мной играешь? Дразнишься?

В его глазах мелькнуло презрение, щека задергалась.

Я молча покачала головой.

– Вот и славно. – Приложившись к моим губам слюнявым поцелуем, он раздвинул их языком, и я внутренне съежилась, превратилась в камень.

Он отстранился, даже в полутьме видно было, как он хмурит брови, а глаза гневно сверкают.

– Думал, я тебе нравлюсь.

– Нравишься, – отвечала я из осторожности, из вежливости, чтобы не злить его.

– Ну так поцелуй меня, – велел он.

И я послушалась.

Я не сопротивлялась, когда он меня поцеловал, уложил на песок. Но когда он навалился на меня сверху, я стала в ужасе отбиваться. Куда там, он был намного меня больше, тяжелее, сильнее. Сколько ни упирайся ему руками в грудь, не поможет. Я уклонялась от поцелуев, и он ткнулся губами мне в шею, а руки тем временем схватились за мою юбку, стали ее задирасть.

– Не надо!

– Не ломайся, Кон.

– Не трогай меня! – Я толкнула его. Это было все равно что толкать стену или скалу.

Он не двинулся с места. Поцеловал меня снова, настойчивей.

– Отстань! – закричала я изо всех сил. – Не...

Но мой крик оборвался – его руки стиснули мне горло.

Я кашляла и задыхалась, сучила ногами по песку. Легкие распирало, мир вокруг сузился до одного-единственного лица, склоненного надо мной.

Я умру здесь. Умру.

Я замахнулась, метя ему в лицо. Он сгреб пятерней обе мои ладони, а другой рукой надавил мне на горло, пригвоздив к земле. Его локоть очутился возле моих губ. Я впилась ему в руку, на зубах что-то хрустнуло, во рту разлился привкус металла.

С диким воплем Энгус отскочил. Я глотнула воздуха и, осев на колени, скрючилась в приступе икоты.

– Ах ты сука! – заорал он, обхватив укушенную руку. – Сука! – В голосе его звенела ярость, он навис надо мной с перекошенным лицом. Я вскочила и бросилась бежать.

Сама не знаю, почему он за мной не погнался. Когда я добралась до дома, Дот уже спала на диване. Прокравшись мимо нее на кухню, я налила полную раковину ледяной воды и стала мыться, скребла багровые ссадины и лиловые синяки, покуда кожу не начало саднить.

Несколько дней я носила шарф. Я не стала рассказывать Дот, где была. А когда синяки потемнели, проступили резче, я заперлась дома, прячась от любопытных глаз. Но слухи все равно поползли.

Дот вернулась из продуктового магазина вся раскрасневшаяся.

– Ну-ка выкладывай, что с Энгусом случилось.

Я отвернулась к окну, затащила потуже шарф.

– Не обязана я перед тобой докладываться. – Рассказать ей, какой дурой я себя выставила, причинить ей боль... Нет, это выше моих сил.

Дот взяла мою ладонь в свои.

– Говорят... Энгус говорит, ты его соблазнила. Говорит, ты на пляж с ним ходила. Целовалась с ним, а потом... а потом укусила.

Я вздрогнула, заморгала, вздохнула. Отпираться нечего. Все, что сказала Дот, – правда, до последнего слова. Она впиалась в меня взглядом, и лицо ее менялось на глазах. Щеки у меня пылали, но я ни слова не сказала.

Спустя три недели мы с Дот перебрались на Шелки-Холм. В карман я положила золотую цепочку, подарок Энгуса, как напоминание о том, что никому нельзя доверять, и о моем позоре.

Сейчас, стоя в часовне и глядя на яркие пятна на шее у Дот, я невольно представляю, как Чезаре касается ее руками, губами, подминает под себя.

Чувствую горечь во рту. В залитой светом часовне становится вдруг темно и душно. В горле что-то застряло, будто меня душат или камень проглотила.

– Мне пора, – выдавливаю я наконец и, протиснувшись мимо Дот, вываливаюсь на улицу, под яростное солнце.

Скорей бы до хижины добежать, запереться – но Дот хватает меня за плечо.

– Зря ты боишься, – успокаивает она. – Здесь нас никто не тронет, ты уж мне поверь.

Смотрю в ее открытое лицо, в ясные глаза. Она сама в это верит. Говорит от чистого сердца, а у самой на шее красные следы – то ли от пальцев, то ли от поцелуев. И неясно, как быть.

Не знаешь, где поджидает тебя беда. Я пошла гулять с Энгусом – и до сих пор мне чудится его хватка; вышла на лодке в море спасать тонущих – и не могу забыть последний судорожный вздох того матроса. Так просто ошибиться в выборе. Лучше спрятаться, и никто не пострадает по моей вине.

Смотрю на Дот – глаза у нее лучатся, лицо светится жизнью и надеждой. Я узнаю в ней себя прежнюю и не могу бросить здесь одну.

Я стою, стиснув в руке кисть с такой силой, что пальцы белеют. Дот смотрит в ту же сторону, что и я.

– Поможешь мне красить? – спрашивает она ласково.

Голова раскалывается.

– Попробую.

Иду за нею следом в часовню и чувствую, что Чезаре и другие пленные смотрят на нас; грудь теснит, ноги готовы нести меня прочь.

Нет, не могу я ее здесь бросить.

Приказываю себе следовать за Дот, повторяю за ней движения – окунаю кисть в коричневую краску, подношу к стене. Дот показывает, как красить плитки: в середине темно-коричневым, ближе к краям – светлее, а по контуру обводить белым.

– Издали будет казаться, что свет на них играет, – поясняет она со знанием дела.

Смотрю на нее искоса – моя сестра, мое второе «я», говорит чужим голосом, рассуждает о том, в чем я не смыслю, – и с горечью сознаю: это они, пленные, нас разлучили. А впрочем, нет, разлад меж нами начался давно, задолго до того, как привезли пленных. Все началось, когда Энгус на меня напал, а я скрыла от Дот правду. Или еще раньше, в ту ночь, когда пропали наши родители.

Рука дрожит, я ставлю кляксу.

– Я все испортила, – шепчу я.

Дот отрывается от работы.

– Да ничего страшного, – отвечает она бодро. – Сейчас поправим. Вот, смотри! – И, взяв кисть, она замазывает кляксу и тут же оставляет бурую полосу поперек плитки, которую только что красила.

– Попробуй, – говорит она.

Робко, дрожащей рукой закрашиваю безобразный бурый мазок так, чтобы он слился с фоном, – никто и не догадается, что он тут был.

– Отойди-ка, – велит Дот.

Отступив на три шага, смотрю на стену – гладкую, обшитую гипсом. Нарисованные плитки издали выглядят как настоящие, и вся часовня будто оживает, дышит.

За спиной у нас Чезаре и два его товарища тихонько аплодируют, и я невольно улыбаюсь. Напряжение внутри отпускает, как если бы меня все это время цепко держала невидимая рука, а теперь ослабила хватку.

Июль – разгар летней страды, что на земле, что на море. Время ловить и солить рыбу, резать и сушить торф на растопку. Но в этом году пленных бесперебойно снабжают провизией, и они охотно делятся с нами.

Линия обороны строится быстро, и по набитым камнями клетям теперь переходят с острова на остров, промежутки между ними тоже заваливают камнями. Кругом бушуют волны, а течения близ островов теперь не узнать, они уносят далеко в море.

Почти готова и часовня. Майор Бейтс разрешил пленным забирать лом с погибших кораблей в заливе. Чезаре задумал выложить пол кафелем, и я хожу с ним, помогаю отдирать плитку с пола на одном из полузатонувших кораблей.

Кон провожает меня, стоя в дверях часовни, в глазах у нее тревога.

– Возвращайся до прилива.

– Само собой.

Чезаре направляется в сторону моря, а я оглядываюсь через плечо на Кон. Худенькая, почти прозрачная, она поднимает руку и машет.

Для всех для нас часовня – не просто здание. Она как мост. Или как протянутая рука.

Кругом все зеленеет; ветер колышет травы, дикую гвоздику; пчелы перелетают с цветка на цветок зигзагами, словно пьяные, и их жужжанье тонет в шорохе волн. Омытая дождем земля пахнет влагой и жизнью.

Чезаре шагает впереди, то и дело оборачиваясь и улыбаясь. Это наша с ним третья вылазка, и оба мы знаем, что времени у нас в обрез.

Проще всего добраться до ближайшего корабля – ржавый железный каркас наполовину торчит из воды, смотрит в небо, а во время отлива корабль обнажается целиком. Но к берегу он оказался так близко, что его, можно сказать, обглодали до костей. Чуть дальше есть другой корабль, там-то и спрятаны настоящие сокровища.

Приподняв подол, я захожу в воду, и ноги обжигает холодом. Брюки у Чезаре закатаны до колен, но все равно вскоре темнеют от воды. Смотрю, как Чезаре заходит все глубже, ахая от холода, – и не могу сдержать смех.

– Жестокая ты, – ворчит он. – И море жестокое. Утопить меня не утопило, так заморозить хочет.

Я смеюсь, но через силу.

– Не умеешь плавать – в воду не суйся.

– Ты меня научишь, – отвечает Чезаре, – и тогда никакое море мне не страшно. – Держась за накренившийся борт корабля, он залезает на палубу и подает мне руку.

– Моря все должны бояться, – говорю я.

И вспоминаю ту ночь, когда уплыли на лодке мама с отцом. Надвигался шторм, но маме было совсем худо – живот у нее за последние месяцы раздуло как мяч, руки-ноги стали как спички, щеки запали. Отец собрался плыть с ней на материк, там можно достать лекарства посильнее, чем в Керкуолле, но мама не хотела уезжать, не простившись с Кон, а та еще не вернулась с прогулки.

Кон не хотела их отпускать, а потому нарочно задержалась. Когда она пришла домой, уже темнело, выл ветер, дыбились волны. Мама стонала, скрючившись от боли, но отец в такую погоду побоялся вытаскивать лодку.

– Отвези ее, пожалуйста, – молила Кон глухим голосом, в котором слышались страх и вина.

Отец сперва отказывался, я его поддерживала. Но Кон просила и молила, а мама корчилась от боли. В конце концов отец сдался и снарядил одну из двух наших лодок, ту, что поменьше. Мы с Кон смотрели, как она исчезает вдаль.

Назад они не вернулись.

Отец выходил в море и в худшую погоду, успокаивала я Кон. Может быть, они укрылись где-нибудь на островах. Может быть, они еще вернутся, твердила я в отчаянии, зная, что не вернутся, и еле сдерживая прорывавшийся в голосе гнев.

Вслух я никогда не винила Кон.

Кон разговоров об этом избегала, она вообще со мной почти не разговаривала и из дома выходила редко. А однажды вечером, ни слова мне не сказав, улизнула гулять с Энгусом Маклаудом.

А сейчас, одной рукой ухватившись за остов корабля, а другую протягивая мне, Чезаре говорит:

– Что-то ты грустная.

Я заставляю себя улыбнуться.

– Нет, никакая не грустная. – Может быть, когда-нибудь я ему и расскажу, только не сейчас. Надо сперва увериться, что он не осудит Кон, не станет ее винить.

Мы молча собираем доски, плитки, обломки металла. Если я ловлю взгляд Чезаре, он улыбается, и на душе у меня понемногу теплеет.

Когда наши мешки набиты под завязку, он берет меня за руку и целует, нежно-нежно.

– Давай вернемся в часовню. Если не хочешь в пещеру.

Я качаю головой.

– Хочу. – И целую его в ответ. Пахнет от него дубленой кожей, деревом, морем.

В пещеру мы идем уже в третий раз, но когда шагаем по горной тропе, у меня сердце заходится. Вслушиваюсь в шаги Чезаре, в его дыхание, вижу, как лоснится его лицо от пота. Лагерь мы обходим стороной, чтобы никому не попасться на глаза. Я смотрю под ноги, на болотные кочки, валуны, кусты дрока, но вижу краем глаза, как смотрит на меня Чезаре, вглядывается в мое лицо. Дважды он спотыкается, чуть не падает, и мы смеемся.

На северной оконечности острова нам уже не нужно прятаться, в эти опасные места никто не ходит, тут повсюду болота и скрытые провалы. В Керкуолле рассказывают, будто в море здесь рыщет Наклави, а женщины, которых коснулось проклятие, – счет им давно потерян – хоронили в этих местах своих погибших возлюбленных. Легенды обрастают все новыми подробностями. Враки, считаем мы с Кон, и все равно она не любит ходить этой дорогой, когда с моря наползает туман.

Сегодня день солнечный, яркий, и я уж точно не собьюсь с тропы. Ноги сами находят твердую почву, а Чезаре ступает за мной след в след.

– Когда-нибудь, – мечтает он, – покажу тебе горы под Моэной. Тогда первым идти буду я.

– Хорошо бы, – отвечаю я, но от этих слов сердце рвется на части: разве в такое поверишь? Чтобы он мне показал свой край? Кажется, будто правды в его рассказах не больше, чем в легендах о погибших влюбленных или о Наклави, – сказки, и только. В такое можно поверить лишь ненадолго, в бессонницу, и вымысел развеется с

первыми лучами рассвета. На ка-кой-то миг мне делается страшно: вдруг неуверенность в моем голосе он примет за безразличие?

Чезаре молчит.

Впереди обрыв. Если ты здесь впервые, то кажется, что дальше только море – вон оно, далеко внизу, бьется об острые утесы. Но я-то здесь бывала не раз и знаю, за что ухватиться, куда ступить, где пригнуться, где встать на четвереньки, чтобы попасть в пещеру.

В глубине пещеры старая дощатая лежанка, на нее наброшено одеяло, рядом огарок свечи. Сквозь единственное отверстие наверху пробивается дневной свет, выхватывая из мрака уголки от костра, что мы жгли неделю назад.

Чезаре целует меня, мы тяжело дышим. Возимся с пуговицами друг у друга на одежде, покрываясь от холода гусиной кожей.

– Замерзла? – Чезаре пытается согреть мне руки.

– Ну и что.

Чувствую его тяжесть, его тепло. Мы осыпаем друг друга поцелуями, и он так близко. Спина у него крепкая, атласная под моими пальцами. Он смотрит на меня большими строгими глазами.

– *Ti amo*^[14], – шепчет он.

Снова целую его.

Потом он разводит огонь и ложится поверх одеяла, обхватив меня поперек живота.

Он гладит мне шею, грудь, живот, прощупывает ребра, смотрит, как я покрываюсь гусиной кожей, и тут же согревает меня поцелуями.

И кладет голову мне на живот.

– Я это серьезно, про горы в Моэне, – говорит он – видно, уловил в моем голосе недоверчивые нотки. – Покажу их тебе. После войны возьму тебя с собой домой.

– После войны? – переспрашиваю я. – Но барьеры почти готовы. И кто знает, куда тебя отправят потом, что будет... – Да и для меня там не дом.

Закрыв глаза, делаю глубокий, медленный вдох, чтобы унять страх, что охватывает меня при мысли о том, что рядом не будет Чезаре. Кажется, без него я пропаду, без него слиняю все краски мира, – глупости, конечно. Жила же я без него когда-то, и в голову не приходило, будто мне чего-то не хватает. И жила бы дальше вполне счастливо. Но теперь...

– Майор Бейтс говорил, вас куда-то переведут, то ли в Англию, то ли в Уэльс. – Сердце разрывается от боли.

– Я тебя заберу. – Он осыпает меня поцелуями – шею, щеки, губы.

– Откуда нам знать, когда кончится война? Сколько нам ждать – месяцы, годы? – Смотрю на Чезаре, пряча страх, и в глазах его вижу тот же ужас, ту же тоску.

– Значит, буду тебя ждать, – говорит Чезаре. И целует меня.

В пещере нам долго оставаться нельзя, разговоры пойдут, да и Кон будет волноваться. По тропе, огибающей утесы с востока, спускаемся к морю, окунаемся в ледяную воду, так что перехватывает дыхание, и Чезаре пытается проплыть хоть немного.

После каждой нашей вылазки в пещеру я учу его плавать, и пусть пока он проплывает всего несколько метров, зато на спину переворачиваться уже научился.

– Расслабься, – говорю я, подплыв под него, – как будто лежишь на воде.

– Не умею я лежать на воде, – ворчит он.

Вначале он пугается, ищет ногами дно, но вскоре опирается на меня, а когда я из-под него выплываю, он лежит на воде, с улыбкой глядя в небо.

Обсохнув на солнце, мы одеваемся и возвращаемся по тропинке, что ведет в сторону лагеря, хижины и часовни.

Чезаре вкладывает мне в ладонь что-то прохладное.

– Что это? – Разжав пальцы, вижу кусок металла с острыми краями – наверное, с корабля. Смахивает на миниатюрный купол или на сложенное крыло какой-нибудь птицы. – Что это? – повторяю я.

Взгляд его лучится теплом.

– *Suore*, – отвечает он. – Сердце.

– А-а. – Верчу его в руке, не зная, что сказать. – Острое...

Чезаре смеется.

– На берегу подобрал. С корабля, наверное. Или от бомбы. Хочешь, в кузнице перекую?

– Спасибо.

И, забрав у меня стальное «сердце», Чезаре прячет его в карман.

Час уже поздний, холодает, я беспокоюсь о Кон, и остаток пути до лагеря мы с Чезаре торопимся. Солнце висит низко над горизонтом, в

середине лета у нас не темнеет по-настоящему, но из-за странного света и причудливых теней местность выглядит незнакомой, и мы то и дело остураемся. Сейчас нам не до смеха.

Часовня лучится бледным сиянием, а внутри тихо и пусто, как будто само здание погружено в молитву. Здесь меня всякий раз охватывает благоговейный восторг. Отчасти потому, что море и ветер так близко, а еще потому, что каждый мазок кисти, каждый изгиб металла здесь дышит надеждой.

Мы оба отдуваемся, ноги у меня в царапинах от дрока.

– Мне пора в лагерь, – говорит Чезаре, целуя меня на ходу.

Смотрю ему вслед, пока в сумерках не теряю его из виду.

Вдруг кто-то хватает меня за плечо. Сердце замирает, я резко оборачиваюсь, вскидываю руки – если это охранник, глаза ему выцарапаю...

Оказалось, Кон. Бледная, в слезах.

– Боже, Кон! Что с тобой? Напугала меня до смерти.

– Прости, ну прости. Я... я, кажется, видела его. По-моему, он где-то здесь бродит, меня караулит.

Нет нужды объяснять, о ком речь.

У меня пересыхает в горле, и я прижимаю ее к себе. Чувствую, какая она слабенькая, невесомая, – почему-то Кон худее меня, более хрупкая, хоть мы с ней и одного роста. Ее страх передается и мне, слышу, как заходится ее сердце. Узнать бы правду от нее самой, но всякий раз, когда я принимаюсь расспрашивать, ее лицо каменеет. Невольно кажется, что в ту ночь на пляже она натворила что-то ужасное. Закрадываются подозрения – редкие, мимолетные, – что слухи о ней ходят не даром, что она и впрямь его завлекала, а потом на него набросилась. Иначе с чего бы ей скрывать от меня правду? И я ненавижу себя за то, что способна плохо думать о родной сестре, усомниться в ней хоть на мгновение.

Сжимаю ее руку:

– По-твоему... Это был точно он?

– Ты не думай, я в своем уме. – В голосе ее звенит металл. – Мне не привиделось.

– Я ничего такого не говорю. – Чувствую укол совести. – Ну же, пойдем в хижину.

– Или... или давай здесь подождем? Убедимся, что он точно ушел? Что его точно здесь нет?

– Хорошо. – Я усаживаюсь с ней рядом на холодный пол часовни, развязываю мешок с деревяшками и плитками, что мы с Цезаре притащили с корабля. – Давай пока выложим плитки на полу. Раствора нет, зато посмотрим, как это будет выглядеть.

Кон с благодарностью берет у меня плитки. Вскоре руки у нее перестают дрожать, дыхание становится ровнее.

Положив на пол плитку, она спрашивает:

– Цезаре... Цезаре тебе хоть раз делал больно?

– Нет, что ты.

В неловком молчании жду от нее другого вопроса.

Плитки мы выкладываем веером, и будто лучи расходятся в сторону алтаря и Девы Марии с младенцем – так похожей на Кон, на меня.

Выкладывая последние плитки, Кон говорит:

– Больше не дам Энгусу сделать мне больно. – Впервые она при мне произносит вслух его имя.

«И я не дам», – клянусь я про себя и так стискиваю в кулаке осколок плитки, что раню ладонь до крови.

В три часа, в призрачной синеве белой ночи, мы идем наконец в хижину.

Кон успокоилась, и при бледном свете я различаю ее улыбку. Иногда в ней сквозит прежняя Кон – сестра, которую я потеряла и никогда больше не увижу, – и мне больно от этой мысли. Мне так ее не хватает; в сердце будто вонзился нож и ворочается там. И приходится себе напоминать, что она еще не оправилась. И что душевные раны имеют свойство затягиваться.

У входа в хижину натыкаюсь на что-то носком ботинка. Наклоняюсь, подбираю с земли что-то похожее на камень, только теплое.

Держу его на вытянутой руке, разглядываю на фоне нездешнего, с рваными облаками неба.

Цезаре, как видно, не в лагерь пошел, а сразу в кузницу.

– Что это? – спрашивает Кон.

Осколок бомбы или часть вражеского корабля, выброшенная на берег. Лучший подарок за всю мою жизнь.

Сюре.

– Сердце, – отвечаю я.

Август 1942

Чезаре

На исходе августа, ближе к вечеру, Чезаре добавляет последние мазки к образу Девы Марии над алтарем. Она прекрасна, почти совершенна. Глаза он все-таки решает сделать опущенными – так будет проще нарисовать выступающие скулы Дот, чуть приподнятые уголки губ и не придется передавать неутолимую жажду во взгляде.

За работой Чезаре вспоминает, как она дышит ему в ухо, как шепчет теплыми губами его имя, когда он ее целует.

Если она захочет, то могла бы работать в маленькой больнице в Моэне, думает Чезаре, ведь она не раз говорила, что мечтает стать врачом, так? Почему бы и нет? Он представляет, как она идет с ним рука об руку по горной тропе, плавает в озере. Он покажет ей церковь, где он расписывал своды. Познакомит ее с родителями.

Доротей. *Mia moglie*. Моя жена.

Мама ахнет, возьмет ее за обе руки. Он представляет Доротей за тем самым столом, где он сиживал еще ребенком; представляет, как она ест воздушный хлеб, пробует острые сыры, макая их в оливковое масло. Как она, смеясь, пьет домашнее красное вино.

Он отказывается думать о том, что Моэну, быть может, стерли с лица земли. И нет больше ни больницы, ни церкви с расписным потолком. Нет стола, знакомого с детства. Нет ни мамы, ни отца. При одной мысли его мутит от ярости. Ночами ему не спится, а если все-таки удастся уснуть, сны он видит сумбурные, злые, кровавые.

Шаги за спиной. Чезаре оборачивается с кистью в руке – Доротей? Так бывает иногда: стоит о ней подумать, и она тут как тут, словно услышала зов. Бывает, один из них начинает фразу, а другой заканчивает; по-английски он говорит с каждым днем все чище и Доротей начал учить итальянскому.

Но за спиной у Чезаре стоит Энгус Маклауд. С него градом льет пот. Сквозь витражи струится свет, пестрые блики пляшут у охранника на лбу, на носу, на небритых щеках. Он облизывается.

– В чем дело? – спрашивает с бьющимся сердцем Чезаре.

Он вооружен лишь кистью, где ему тягаться с Маклаудом, с его дубинкой и кулаками! С его пистолетом. Глаза у Маклауда красные как от слез – но нет, с чего ему вдруг плакать? Может быть, у него жар. Зачем он тогда приплелся сюда, в часовню? Пока ее строили, Маклауд обходил ее стороной, помня угрозы майора Бейтса.

– Если вам плохо, – обращается к нему Чезаре, – надо в лазарет.

– Как тебе удалось? – спрашивает Энгус.

Чезаре оглядывает часовню – резную алтарную перегородку, росписи, что наполняют его благоговением, будто это не его рук дело или всю часовню он украшал во сне.

– Я до этого много рисовал, – отвечает он. – В Италии...

– Да не про часовню я, чтоб тебя! – рявкает Маклауд, нарушая благостную церковную тишину. – Как ты заполучил... ее?

Видно, до него слухи дошли, проговорился кто-то из пленных или из охраны. Он и Дот стараются держать в тайне вылазки в пещеру, но то, что они пара, известно всем – по крайней мере, так думает Чезаре. Джино не упускает случая подразнить его насчет Дот, даже Стюарт-охранник и тот, подмигивая, называет ее «твоя дама сердца». Но от Маклауда, похоже, до сих пор удавалось скрывать секрет.

Маклауд весь обливается потом. Над верхней губой свисает капля, он утирает ее рукавом.

– Как? – спрашивает он снова.

Надо быть честным, решает Чезаре. Что толку юлить, прикидываться дурачком – он не забыл, как Маклауд лупил его по спине дубинкой в каменоломне. Сомнений нет, этот человек даже в здравом уме способен на убийство. А сейчас Маклауд уж точно не в здравом уме. Глаза у него бешеные, налиты кровью, уголок рта дергается, будто он вот-вот захохочет или расплачется.

– Она меня любит, – говорит Чезаре, и ему чудится, будто Дот, дыша ему в ухо, шепчет: «Люблю».

Губы у Маклауда кривятся.

– Любит? Да черта с два! Взгляни на себя – ни кожи ни рожи, ты и языка толком не знаешь. – Он обводит жестом часовню: – Вдобавок ты другой веры, черт подери! Чтоб она тебя любила?! Небось голову ей задурил.

Слова застревают у Чезаре в горле. Сколько отсюда шагов до двери часовни? Можно ли убежать от пули? Он отвечает вполголоса:

– И я ее люблю.

Весь напрягшись, он ждет, что Маклауд взмахнет дубинкой или выхватит пистолет. Наверное, можно толкнуть Маклауда, впечатать его спиной в алтарную решетку. Или самому выбить у него оружие.

Но тут на глазах Маклауда выступают слезы. Он подходит ближе, пошатываясь, точно пьяный.

– Ну а я сестру ее разве не люблю? Я ее любил с...

– Они разные, – отвечает с полуулыбкой Чезаре.

Зря он это сказал – Энгус бросается на Чезаре и, стиснув ему виски, тянет его за голову на себя, они сталкиваются лбами, аж искры летят из глаз. Энгусу хоть бы что, он дышит Чезаре в лицо кислым перегаром.

– Да знаю я, чертов итальяшка! Знаю, что они разные. Но я ухаживал за Кон. Гулять ее водил, когда родители у них без вести пропали. Был рядом, поддерживал. Любил ее. Цепочку ей подарил. И приглядывал за ней, как бы чего не вышло. Боже! – Он отталкивает Чезаре. – Может, она меня дразнит. Хвостом передо мной вертит. Говорят, девчонки так делают – прикидываются, будто им на тебя плевать. А вдруг и Дот с тобой такое провернет? Представляешь? Вдруг через месяц она и разговаривать с тобой не захочет... – Он проводит рукой по лицу, шмыгает носом. – А-а! Я и забыл. – У него вдруг вырывается визгливый смешок, он спотыкается, смотрит на Чезаре воспаленными глазами. – Через месяц вы отсюда уберетесь. Линия обороны почти достроена. К концу сентября будет готова, а вас в другой лагерь переведут. Майор Бейтс говорит, может, в Уэльс. Да все равно куда. Дот найдет с кем согреться до конца войны, это уж точно.

Он скалится, и Чезаре вынужден себе напомнить о дубинке, о пистолете, о карцере. Он медленно выдыхает, сжимает кисть с такой силой, что та ломается. Всадить бы ее Маклауду в глаз. Чезаре старается взять себя в руки.

Маклауд сверлит его взглядом, щерится, выжидает. Чезаре стоит не шелохнувшись.

– Да не волнуйся, я за ней присмотрю, – говорит Маклауд.

И, развернувшись, шаткой походкой идет прочь из часовни. Чезаре заставляет себя оставаться на месте, подавляет ярость, что выжигает его изнутри. Напоминает себе, что Маклауд не тронет Дот – она его и близко не подпустит.

Но как-никак ему, Чезаре, скоро уезжать. В запасе у них меньше месяца.

Спустя пять дней, лежа в пещере, он не может успокоиться, собраться с мыслями. По знакомой тропе он шел молча – он нашел бы дорогу хоть с закрытыми глазами, – и сейчас, когда рядом пристроилась Доротея, прильнув головой к его обнаженной груди, он по-прежнему не знает, что сказать. Дважды она спрашивала, что с ним, – в первый раз шутя ткнула его в бок, он глянул на нее исподлобья и тут же устыдился, увидев на ее лице обиду. Но не скажешь же ей об угрозах Маклауда. Не скажешь, что скоро ему уезжать, даже если она догадывается.

Сегодня она посмотрела на барьеры – кое-где остались еще зазоры, куда бьются волны, – и сказала: «Уже недолго».

Чезаре не ответил. Он понимал, что своей хандрой портит последние дни перед разлукой, но стряхнуть ее был не в силах.

Дождется ли его Доротея? Поедет с ним в Моэну, как обещала? Или останется здесь, с Кон, которая в последнее время повеселела, приободрилась? Она говорила, что когда пленных переведут в другое место, она хочет работать в керкуоллской больнице. Ему легко представить, что Доротея останется здесь с сестрой, – точнее, невозможно представить, что она отсюда уедет.

– Я пойду. – Она со вздохом встает. Лицо у нее напряженное, он хочет ее обнять, поцеловать. Хочет попросить у нее прощения, но тогда придется объясняться, напоминать о разлуке.

Чезаре смотрит, как она одевается, любит ее плавными движениями, длинными тонкими руками, белизной кожи. С чего он взял, что она его дождется? Прав Маклауд, на что ей итальяшка, Доротея достойна большего.

Вдруг он видит: в ладони у нее что-то зажато.

– Что это?

Она разжимает кулак, на ладони стальное сердце, что сделал он ей в подарок. Достал раскаленным из горна, взял в руки, не успев

остудить. На правой ладони у него остался шрам, гладкий, слегка изогнутый – то ли половинка сердца, то ли знак вопроса.

– Нравится? – спрашивает он.

– Всюду его с собой ношу, – отвечает Доротея.

Внутри у него будто рушится стена. Как мог он в ней усомниться? Снова вложив стальное сердце ей в ладонь, он целует ей пальцы.

– Прости, я сегодня такой *bastardo*^[15].

Доротея гладит его по щеке:

– Грустишь, что скоро уезжать?

Чезаре кивает, благодарный за ее чуткость.

– Еще бы. – Она целует его в губы. – Сердце-то я твое забрала!

Чезаре, смеясь, целует ее в ответ. Так, как ее, он никогда в жизни никого не любил. Схожий душевный подъем он чувствовал, когда расписывал часовню. Преклонение, как перед божеством.

После очередного поцелуя она отстраняется:

– Мне пора, а то Кон будет волноваться.

Чезаре кивает и снова целует ее.

– Иди, а я следом. *Tia amo*.

– И я тебя люблю.

И она уходит.

Он не спеша одевается, в руках и ногах приятная тяжесть, а на коже остался ее аромат; каждый раз на обратном пути ему не хочется окунаться, но Доротея настаивает, чтобы он тренировался – мол, не всегда же она будет рядом. На этот раз мысль, что ее не будет рядом, причиняет нестерпимую боль, и он рад окунуться в студеные волны, освежить голову. Плавает он пока что плохо – по-собачьи, смеется Доротея, – но держится на воде, и на том спасибо. Наскоро обсохнув, он идет по тропе обратно к часовне, стараясь не смотреть на почти готовые барьеры. Говорят, по ним кое-где уже можно пройти. Может быть, после его отъезда Доротея сможет добраться до старого дома в Керкуолле, про который рассказывала ему. Может быть, она там обживется. Может быть...

«Хватит!» – одергивает он себя.

На небе сгущается тьма, мерцают первые звезды. Пока еще тепло, но он не забыл, как холодно здесь зимой. Интересно, в Уэльсе так же холодно?

Уже на подходе к часовне он слышит крик. Тонкий, замирающий – так взлаивают лисицы среди холмов Моэны. Но здесь, на острове, лис нет. Вновь звенит крик, и ему приходят на ум легенды об этом острове, слышанные от Доротеи. О чудовищах, что выходят из моря. О существах без кожи, что дышат ядовитым смрадом, и о шелки, прекрасных людях-тюленях.

Волосы у Чезаре встают дыбом. Снова крик – несомненно, женский, а следом мужской рык.

Крики несутся из-за кузницы.

Обогнув кузницу – тоже барак из листового железа, – он видит, как по стене мечется странная многорукая тень. Вначале не разобрать, что происходит. Еще мгновение – и все ясно.

Мужчина – охранник – прижал к стене женщину, лезет к ней под юбку. Женщина лупит его по щекам – бесполезно. Чезаре вначале не понимает, почему женщина молчит, и тут же видит: охранник вцепился ей в горло.

Недолго думая, Чезаре налетает на негодея с кулаками. Тот, потеряв равновесие, падает навзничь. Женщина, скрючившись, тяжело дышит, лица не видно из-за длинных волос. А когда она выпрямляется, едва дыша, держась за шею, лунный свет выхватывает из мрака ее лицо.

Доротея!

Дальше все происходит очень быстро – в памяти уцелели обрывки, и, даже собрав их воедино, Чезаре трудно было бы объяснить, что же все-таки случилось. Память сохранила ряд картин, моментальных снимков: Доротея кашляет и задыхается, схватившись за горло. Его рука, протянутая к ней – онемевшая, словно чужая, будто все происходит не с ними. Охранник бросается на Чезаре, бьет его в грудь, в голову, в лицо. Звон в ушах вперемешку со звуками ударов – и, уже лежа на земле, он понимает, что соперник, подмявший его под себя, – Энгус Маклауд.

Еще удар – Чезаре уже не чувствует боли, – и Энгус, обмякнув, падает ему на грудь, будто заснул посреди драки.

А над ними с дубинкой в руке стоит Констанс. И снова замахивается, хочет ударить Энгуса по макушке.

– *Fermare!* – кричит Чезаре, и ему вторит Доротея: «Не надо!»

Время вновь замедляется. Чезаре, выбравшись из-под бесчувственного Маклауда, щупает ему пульс.

Жив.

Чезаре встает, притягивает к себе Доротею. Она вся в слезах.

– Он просто... он был здесь. Я не могла... – Она давится словами.

Чезаре гладит ее по волосам.

– Ты цела? – Он осматривает ее шею – пара синяков, ничего страшного. – Он тебе сделал больно?

И, выхватив у Кон дубинку, он смотрит на бесчувственного Энгуса. Замахивается.

– Не надо! – кричат сестры хором.

По лбу у Чезаре струится кровь, заливает глаза, во рту медный привкус. Чезаре, отплеываясь, вновь переводит взгляд на распластанное тело.

– Что нам с ним делать? – спрашивает он.

Кон отвечает, отбирая у него дубинку:

– Сбросим его со скалы.

Сестры стоят бок о бок. Вид у них дикий, потусторонний. Опять приходят на ум легенды о шелки, о таинственных девах, которым ничего не стоит утопить моряка.

Доротея вздыхает. И Чезаре так и не суждено узнать, что бы она сказала, поднимется ли у нее рука убить человека, потому что в этот самый миг Маклауд шевелится, потирает затылок и, ругнувшись, приподнимается.

Хлопая глазами, он смотрит на Кон с дубинкой в руке. Выпрямившись, беспокойно облизывается.

– Кон, прости, – начинает он. – Я бы и близко не подошел к Дот. Обознался... Думал, это ты. – Поверить в такое невозможно, но он продолжает с невозмутимым видом: – Она целоваться ко мне полезла, назвалась тобой. А люблю я тебя одну. Ты уж мне поверь.

Кон стоит не шевелясь.

– Не трожь мою сестру. – Голос ее дрожит.

– Держись от них подальше, – говорит Чезаре. И не узнает своего голоса – в нем звучат низкие, грозные ноты. Убил бы гада и не поморщился. Мысль эта кажется ему трезвой, оправданной, освежает, как глоток холодной воды.

Маклауд встает с земли, смотрит на Чезаре:

– А если не буду? – Потом проводит рукой по макушке, на ладони остается кровь. – Знаешь что, – продолжает он, – если со мной что еще случится, помни, в Керкуолле у меня много друзей. А до острова они скоро пешком смогут дойти. И всяких бредней о проклятии они не боятся. И еще кого-нибудь с собой приведут – часовню вашу перекроить, цапки католические повыкидывать. И с дружками твоими тоже потолкуют – как их там, Джино, Марко? И со священником – как его, Оссини? А людям скажем, что был еще один бунт, пленные пострадали, и никто не удивится.

Чезаре делается дурно.

– Не смей...

– Что хочу, то и делаю. – Маклауд подходит к нему вплотную, нос к носу. – Я здесь свой. И форма моя о том же говорит. Здесь моя земля. А ты кто? Грязи кусок из страны, которой, может, уже и на карте нет. И девушки эти не твои. Ты права не имеешь к ним прикасаться, слышишь?

Взять бы дубинку да разукрасить мерзавца как следует, думает Чезаре. Ему мерещится карцер, расстрельная команда. Ну и пусть, лишь бы с Доротеей ничего больше не случилось.

– Прошу тебя, – шепчет Доротея, – умоляю, не трогай его. – И непонятно, к кому она обращается, к нему или к Маклауду; секунда, другая, третья. Наконец Маклауд отступает на шаг и, выхватив у Кон дубинку, пускается под гору.

Едва он исчезает из виду, Доротея говорит Чезаре:

– Тебе отсюда надо бежать.

У Чезаре сжимается сердце.

– Не могу.

Кровоподтеки на шее у Доротеи темнеют с каждой секундой, он почти различает контуры пальцев Маклауда.

– Беги отсюда, – твердит она, – или он тебя убьет.

Кон кивает:

– Она права.

– Как мне отсюда бежать?

– У нас есть лодка, – отвечает Доротея. – Можешь уплыть, пока барьеры не достроены. Там остались еще зазоры, небольшая лодка пройдет. До Шотландии десять миль. Или можешь переправиться на

один из наших островов, южнее Керкуолла... – Она прерывисто вздыхает. – Всяко лучше, чем здесь оставаться.

– Я тебя не брошу. – У Чезаре теснит грудь, рвутся наружу слова, которые он не может сказать на ее языке. Бросить ее здесь все равно что расстаться с частью души. Оставить ее в опасности, рядом с Маклаудом, невыносимо.

– Поехали со мной, – говорит Чезаре.

– Не могу. – Доротея со слезами на глазах берет за руку Кон.

Но Кон отступает в сторону.

– Поезжай, – говорит она.

– Что? – Доротея растерянно пятится.

Чезаре тоже в недоумении. Почему Кон ее отсылает прочь? В чем тут смысл?

– Поезжай, – повторяет Кон недрогнувшим голосом.

И Чезаре видит, каких усилий ей это стоит, как она сжимает трясущиеся руки в кулаки и прячет за спину, чтобы Доротея не заметила.

У него на глазах Кон переплавляет свой страх в благородный порыв. Он помнит, как полз, изнывая от жажды, по египетской пустыне и тащил на себе раненого Джино, зная, что может не выдержать и умереть от жары, что в любую минуту его может настигнуть пуля. Зная, что все это сейчас неважно.

– Поезжай с ним, – говорит Кон.

Конец августа – начало сентября 1942

Дороти

Все темнее ночи, но нам не до сна. Лицо у Чезаре в синяках и ссадинах, товарищам он говорит, что оступился в потемках по дороге в часовню.

– И тебе верят? – спрашиваю я. Губы у него рассечены, подбитый глаз не открывается – дело рук Энгуса.

– Джино не верит, – отвечает он. – Но не могу же я сказать правду.

Ему нет нужды мне объяснять почему. Я представляю, как пленные могут отомстить охране. И знаю, чем это грозит.

Провожу пальцами по его разбитым губам и думаю обо всем, что мы вынуждены скрывать.

По вечерам я стараюсь задержаться с Чезаре в часовне подольше. Зачастую мы сидим рядом, и ни слова, его рука просто покоится у меня на плече или на колене. Я чувствую, как он разглядывает отметины у меня на шее, – они почти сошли, но мне до сих пор мерещится, будто чьи-то пальцы сжимают мое горло. Иногда, словно бы угадав мои беспросветные мысли, Чезаре обнимает меня. Это жест утешения, в нем ни намек на требовательность. В пещеру мы больше не возвращались.

Когда глаза мои начинают слипаться, Чезаре провожает меня до хижины, целует по-братски в щеку и возвращается в лагерь. Энгус, наверное, лечится в керкуоллской больнице – в лазарете его нет. Страшно подумать, что он затевает в Керкуолле с друзьями, которым пленные и часовня поперек горла.

Лежу в темноте, голова гудит от мыслей. Закрываю глаза и вижу лицо Энгуса возле своего лица, чувствую его губы вплотную к своим, жар его дыхания. Если я все-таки забываюсь беспокойным сном, то скоро просыпаюсь, ощущая его хватку на своем горле. Кон гладит меня по волосам, когда я вскакиваю с криком, обнимает, если я плачу.

– Тебе непременно полегчает, – шепчет она.

Ей тоже не спится, и мы без конца обсуждаем, как нам незаметно переправить с острова Чезаре. До сих пор не могу решить, как быть. Кон обещает вернуться в Керкуолл, устроиться там медсестрой. Говорит, что подружилась с Бесс Крой, та тоже хочет работать в больнице, когда пленных отсюда увезут.

– А как же он? – спрашиваю я.

Кон сжимает губы, но глаза ее блестят.

– Буду держаться от него подальше, – отвечает она, хоть и ясно: Керкуолл – городишко крохотный, здесь это невозможно.

В часовне Чезаре мне говорит:

– Я убегу один. Если хочешь побыть с сестрой, поплыву первым. А потом ты. – На лице у него написана мука, но я знаю, что говорит он всерьез.

И я думаю о том, как война показала, кто чего стоит на самом деле.

Представляю, как Чезаре плывет один по суровым осенним волнам, а потом вспоминаю, как мама с отцом вышли в сумерках в море и не вернулись. И знаю, что все для себя решила давно, когда поймала трепещущую на ветру открытку и отдала незнакомцу.

Самое сложное – уплыть отсюда незаметно. Надо чем-то отвлечь внимание.

Первого сентября – спустя пять дней после того, как Энгус прижал меня к стене кузницы и схватил за горло, – Чезаре стучится в дверь хижины условным стуком: пять быстрых ударов.

Я лежу на кровати, и в дом его впускает Кон.

Чезаре раскраснелся, поднимаясь вверх по склону, брови у него насуплены.

– Что случилось? – спрашиваю я.

– Майор Бейтс сказал, завтра праздник. Как его... Михайлов день?

– Михайлов день в конце сентября, – хмурится Кон.

– Майор говорит, в конце сентября нас уже здесь не будет. Барьеры будут готовы, и мы уедем. А сейчас много лишних припасов осталось, заодно отметим окончание строительства – барьеров и часовни. Он созовет весь Керкуолл.

Мысли проносятся в голове бешеным вихрем. Весь Керкуолл... Значит, и Энгуса. Сердце у меня обрывается. Но поднимется суматоха,

одни будут приплывать на остров, другие уплывать...

– Вот и представился нам случай бежать, – говорю я. – Когда праздник?

Чезаре мнется.

– Завтра.

Перевожу взгляд на Кон. Она силится улыбнуться, а на глазах слезы.

– Хорошо, что вещей у вас немного, – говорит она. – Соберемся быстро.

Я обнимаю ее.

– Спасибо, – шепчу я.

Наступает утро, серое, хмурое. Сентябрь, когда настает ненастье и волны обрушиваются на берег, – время Осенней битвы. По оркнейским легендам, в эти дни Мать моря бьется со злым духом Тераном. Из года в год весной она одолевает коварного Терана и низвергает в пучину. Но осенью Теран вновь набирает силу и изгоняет Мать моря. Полгода длится власть Терана, без устали обрушивается он на острова, прерываясь лишь затем, чтобы послушать крики тонущих моряков.

Ровно год миновал с тех пор, как наши родители ушли в море и не вернулись.

Я об этом речь не завожу, и Кон тоже, но на лице у нее тревога, и она украдкой смахивает слезы. Впрочем, не время предаваться скорби. Мы встаем чуть свет, укладываем в сумку одежду, припасы, Кон печет сухое овсяное печенье, заворачивает в промасленную бумагу – для меня и для Чезаре, ведь он не сможет взять из лагеря продукты, не вызвав подозрений.

Мы кормим кур, потом Кон исчезает позади хижины, и раздается лязг лопаты. Помню, как несколько месяцев назад, туманной ночью, я услышала тот же звук.

Когда она возвращается, я стараюсь на нее не смотреть, не хочу показаться навязчивой. Но она сует мне в ладонь матерчатый мешочек. В нем что-то прохладное, чуть позвякивает, будто колокольчик вдалеке. Хочу посмотреть, что там, но Кон придерживает меня за руку:

– Не надо.

– Что это?

– Неважно, мне оно уже ни к чему. Брось это в море, где-нибудь подальше отсюда.

Кивнув, прячу мешочек в карман.

Когда Кон собирается уходить, шепчу ей вслед:

– Я тебя никогда не винила.

Я и сама не знаю, за что именно – за родителей, за Энгуса или за то, что нам пришлось перебраться сюда, на остров, и строить жизнь заново. И не знаю, правду ли я сказала – может быть, иногда мне и впрямь случалось ее винить. Может быть, я считала ее бременем, грузом. Или думала, что она сама на себя навлекла все эти беды, а заодно на меня.

Но сейчас я ее не виню. Теперь я все наконец поняла.

Народ начинает стекаться из Керкуолла ближе к полудню. Нам видно отсюда, как люди отправляются в путь с того берега; многие идут пешком вдоль барьера сколько могут, но, увидев, что зазор в середине слишком широк, пересаживаются в лодки. Море беспокойно, пускаться через пролив опасно. Тысячи лет остров был отрезан от мира, считался проклятым. Теперь старые сказки отжили свое.

Лица оркнейцев в лодках полны радостного нетерпения. Кое-кто указывает на холм с часовней и туда, где стоим мы с Кон. Столь приметное место мы выбрали неспроста. Чтобы сегодня нам все удалось, надо быть на виду.

Энгус Маклауд, наверное, тоже в одной из лодок – чтоб он да упустил такой случай! Стою на холме под взглядом его, невидимого, и чувствую, будто с меня слетает все: одежда, кожа, плоть, остается один дрожащий остов.

Кон просовывает свою ладонь в мою.

Когда лодки уже пришвартовались в заливе, мы с Кон поднимаемся к часовне встречать гостей. Не знаю, где сейчас Чезаре – в лагере, наверное. Как бы он не столкнулся с Энгусом один на один. Страх сжимает сердце.

В часовне холодно, она озарена светом, желтоватым, как старый пергамент. Пока мы ждем, я наскоро молюсь всем благим силам, какие только есть на свете. И пристраиваюсь возле Кон, у самого порога. Ноги подкашиваются; моя бы воля, спряталась бы в хижине. По

страдальческому лицу Кон вижу, что и она рада бы спрятаться, да нельзя: чем больше людей нас увидят, тем лучше.

А вот и они, поднимаются вверх по склону – крики, смех. Праздник как-никак, а многие из них впервые на острове. У порога часовни они замирают в нерешительности; изумленные возгласы – мол, надо же, как будто из камня сложена!

Меня переполняет гордость, слышал бы их Чезаре! Только вот вряд ли они сказали бы ему об этом.

Первым заходит в часовню Джон О'Фаррелл. Седины в волосах у него прибавилось, щеки ввалились, цвет лица болезненный. От Бесс я знаю про его сына Джеймса, и сердце кровью обливается – и за парня, товарища моего детства, и за его отца, который стоит сейчас передо мной, когда-то он был лучшим другом моего отца. Изумленно раскрыв рот, он разглядывает своды часовни – и не замечает ни меня, ни Кон, стоящих у входа.

– Здравствуйте, мистер О'Фаррелл. – Мне делается вдруг неловко перед этим человеком из прошлого. А когда-то он меня учил письму, таблице умножения.

– А-а, здравствуй... – Оглядев меня в юбке и Кон в брюках, он прибавляет: – Здравствуй, Дот.

Я киваю, а про себя гадаю, заметно ли со стороны, насколько мы изменились. Можно ли, совершенно преобразившись внутри, для окружающих оставаться прежними? Те же мысли меня посещали и когда исчезли наши родители; знакомые тогда замечали с одобрением: «А ты хорошо выглядишь» – можно подумать, я должна была целыми днями лить слезы и рвать на себе волосы.

И про себя я думала: «Да что вы знаете о горе, об утратах? Да ничего вы не понимаете!»

Джон О'Фаррелл неловко топчется на месте, смотрит в пол.

– Простите, если вам тут... тяжело живется.

Не знаю, какие именно новости с острова докатились до Керкуолла, сколько в них правды, а сколько вымысла. И вспоминаю, как Джон дал слово нашему отцу-рыбаку, что никогда нас не оставит.

– Думаю... – отвечаю я и вижу, как Джон насторожился, – думаю, в войну всем тяжело приходится, везде. Так или иначе.

Джон благодарно улыбается:

– Ты умница, Дот.

Улыбаюсь в ответ, а про себя думаю: да ничего вы не понимаете!

Джон идет к алтарю полюбоваться росписями, а в часовне меж тем собирается народ. Старик Кэмерон со своим вечным кашлем; Нил Макленни и его семья; Марджори, мать Бесс Крой, с целым выводком ребят. Малыши, раскрыв рты, таращатся на росписи, трогают обшитые гипсом стены, алтарную решетку. В часовне звенит смех. Всюду изумленные, восторженные лица.

Вскоре, ухмыляясь, заходит Роберт Макрэй. А следом – Энгус Маклауд. Мне тошно на него смотреть, но я все делаю как задумано. Подхожу к Кон, становлюсь рядом, касаясь ее плечом.

Энгус останавливается перед нами.

– Смотреть на вас – двойное удовольствие, даже в такой паршивый день, – говорит он.

– Здравствуй, Энгус. – Слова мне даются с трудом. У меня немало причин быть с ним сегодня любезной, но главная из них сейчас – он должен быть спокоен, когда появится Чезаре. Без меня некому будет его утихомирить.

Энгус, оглядев меня с головы до пят, улыбается, подходит вплотную.

– Прости, что... – Он подносит руку к горлу. – Не хотел тебя обидеть, ей-богу.

Хочется закричать: ты меня за горло хватал, прижимал к стене, приставал с поцелуями, лез под юбку! Как это – не хотел обидеть?!

Сглатываю, киваю. Стук сердца отдается в ушах. Если скажу хоть слово, то закричу или меня вывернет наизнанку. Через силу улыбаюсь. Все мышцы затекли, будто одеревенели.

– Кон, – говорит Энгус, и на ее лице я вижу ту же застывшую улыбку.

– Здравствуй. – Голос у нее тоненький, будто ей сдавили горло.

Энгус, еще раз смерив взглядом нас обеих, идет осматривать часовню. Вот он что-то шепнул Роберту, оба гогочут.

У меня волосы встают дыбом.

Поворачиваюсь к Кон. Она побледнела, еле дышит.

– Ну вот, можно и уходить. Готова?

Кон молча кивает, и мы идем обратно в хижину. Ветер крепчает. В лагере строятся пленные, собираются в часовню на молитву. Чезаре, наверное, тоже там, но его не различить в толпе людей в коричневой

форме с красными метками. Во рту у меня пересохло. Права на ошибку у нас нет.

В хижине теплее, чем на улице, в очаге догорает торф. Грею руки над очагом – неизвестно, когда в следующий раз удастся согреться.

Затем мы с Кон меняемся одеждой: я ей – юбку, она мне – брюки. Они хранят ее тепло. Надев их, пробую нагнуться, поднять ногу, как будто залезаю в лодку.

– Куда проще, чем в юбке! – радуюсь я.

– Еще бы! – Кон надевает мою юбку с таким кислым лицом, что я не могу сдержать улыбку, позабыв на миг про страх, про ужас. Несмотря на то что в воздухе висит напряжение, будто натянутый канат.

Бросаю прощальный взгляд на хижину, стараюсь запечатлеть ее в памяти. Прячу под пальто сумку, и мы с Кон выходим навстречу надвигающейся грозе.

Констанс

Не время лить слезы, пусть по дороге к лагерю горло сжимает знакомая боль и сердце теснит от горя. Дот молчит, лишь натянуто улыбается мне на ходу.

Что я без тебя буду делать?

Эта мысль вызывает в памяти слова, что говорила нам мама, когда заболела и мы за ней ухаживали в керкуоллском доме. Смачивали губкой щеки и грудь, подносили к ее губам стакан воды. Нам было по двадцать два, и из всех, кого мы знали, мама была самым сильным человеком. И вот она лежит в постели, слабая, как младенец, с лихорадочным блеском в глазах, и шепчет нам: «Что бы я без вас делала?»

Говорила она сиплым голосом, а в груди у нее клокотало так, что в доме слышалось эхо. В тот день, когда они с отцом собрались на большую землю, за более сильными лекарствами, я нарочно задержалась на прогулке, потому что не хотела с ней прощаться. Не хотела смотреть ей вслед, не зная, увижу ли ее снова. Но мама отказалась уплывать, не простившись со мной. Они все ждали и ждали, а ветер крепчал. И когда я вернулась домой, лицо у мамы было

пепельно-серым от боли, а плыть в Шотландию при такой волне было опасно. Но совесть меня замучила, загрызла. Невыносимо было от мысли, что по моей вине мама так страдает. И я их убедила в такую сильную волну выйти в море. Отцу случилось рыбачить и в худший шторм.

Домой они так и не вернулись.

Сегодня все будет иначе, уверяю я себя. Ничего с Дот не случится, она вернется. Это ведь не навсегда, а совсем ненадолго, пока не кончится война.

Если эта война вообще когда-нибудь кончится.

подавляю эту мысль в зародыше.

Дот шагает рядом в глубоком раздумье.

Не знаю, что ей сказать. Глаза слезятся от ветра. На море вздуваются волны с шапками белой пены. Цвет у моря тускло-серый, болезненный.

– Может быть, все-таки поплывешь с нами? – спрашивает Дот.

Сердце у меня сжимается, но я качаю головой:

– В керкуоллской больнице медсестер не хватает. После каждого шторма пострадавших привозят, и я бы, пожалуй, хотела... помогать людям.

Думаю о маме с отцом – если бы только я могла их вернуть, заботиться о них. Как жаль, что я их не уберегла. Откашлявшись, говорю:

– Мне здесь есть чем заняться.

Стараюсь, чтобы голос не дрожал – нельзя, чтобы Дот почувала мою неуверенность и страх. Нельзя, чтобы она заподозрила, что у меня на сегодня есть свой план, о котором я почти не позволяю себе думать. План этот даст мне свободу. Если Дот что-то заподозрит, то попытается меня удержать. Если она догадается, то никуда не поплывет.

А если план удастся, то я смогу снова жить в Керкуолле. Мне станет нечего стыдиться. Я снова смогу смотреть людям в глаза. И никуда не сбегу.

Лагерь опустел, лишь краснолицый охранник, щурясь на ветру, смотрит вдаль, на часовню. Увидев, как мы спускаемся с холма, он застывает столбом.

– А вы почему не в часовне, не на празднике вместе со всеми? – спрашивает он недовольно.

– Нам в лазарет нужно, проведать больных, – отвечаю я. – У нас тоже работа, как у вас. Но все-таки несправедливо: вся охрана веселится, а вы тут стоите. Вы здесь один?

Часовой морщится.

– Мы жребий тянули, – объясняет он. – Значит, все по справедливости.

Приближаюсь на шаг.

– Может, вам тоже в часовню пойти, к остальным? Жаль такое пропускать. Пленных здесь почти нет, только больные в лазарете, а за ними мы присмотрим.

– Нельзя мне с поста уходить, так и под трибунал угодить недолго. – Он оглядывает меня с подозрением, переводит взгляд на Дот с дорожной сумкой: – Что у вас тут?

Я клянусь себя: надо было спрятать получше. Но я недооценила Дот.

– Подгузники для больных, если у кого-то катетер выпадет. Я их сделала из своих прокладок для месячных. Вот. – Она порывается открыть сумку, но часовой, брезгливо сморщившись, отворачивается.

– Проходите.

Вбегаю в лазарет, Дот за мной.

– Если Бесс здесь, – говорю я, – отвлеку ее.

Однако в лазарете тишина. Лишь трое больных на койках, да и те спят. Бесс, наверное, в часовне или ушла в столовую – поесть, пока пленные не вернулись.

– Быстрей, – тороплю я и поглядываю на дверь, пока Дот роется в шкафчике с лекарствами. Слышно, как перекатываются таблетки и звякают пузырьки, падая в сумку. – Бери побольше, – говорю я. – Может, пригодится на что-нибудь обменять.

Дот с застывшим лицом прячет в сумку еще два бинта и пузырек сульфаниламидов.

– Не нравится мне это.

– Выбирать не приходится.

Мы снова выходим на улицу, под дождь. У ворот, ссутулившись, стоит к нам спиной часовой.

– Попробую его отвлечь, – говорю я.

Дот, кивнув, прижимает меня к себе. Обнимаю ее в ответ еще крепче, стараясь дышать ровно.

Главное – не раскисать.

– Будь осторожна, – говорю я, задыхаясь.

– И ты.

Что еще ей сказать? Как попрощаться с частью себя самой?

Выпускаю ее из объятий. Дот прячется за углом лазарета, а я тем временем подзываю часового: мол, слышала шум – наверное, кто-то из Керкуолла приплыл, но не в часовню пошел, а в лагерь.

Часовой недовольно бурчит, но, как положено, обходит лазарет, заглядывает в проход между двумя ближними бараками. И пока я ищу вместе с ним, Дот, выскользнув из укрытия, спешит к воротам. И, не оглянувшись, не махнув на прощанье, выходит из лагеря и быстро шагает в сторону залива.

Сердце падает, рвется в клочья.

Часовой уже успел убедиться, что возле лазарета никто не прячется; я говорю ему спасибо и пускаюсь вверх по склону к часовне, а внутри все разрывается, воздуху не хватает. Будто чья-то ледяная рука тянется к моему сердцу.

Ветер треплет волосы, заглушает рыдания.

На подходе к часовне я уже дышу ровнее.

Итальянцы столпились у входа. Может быть, кто-то из них в часовне, вместе с гостями из Керкуолла. Может быть, тех из них, кто помогал на фермах, пустили туда погреться, обсохнуть – но это вряд ли. Для здешних жителей позволять чужакам работать на своей земле – это одно, а молиться с ними в церкви – совсем другое.

Вначале я волнуюсь, смогу ли отыскать Чезаре, но вот в толпе заметили меня, перешептываются, оборачиваются.

Как стая голодных псов, думаю я, и в душе поднимается знакомый страх. Сейчас развернусь и бегом домой, в хижину. Но я остаюсь. Ради Дот. Надо собрать все мужество.

Пленные расступаются передо мной, и я заливаюсь краской. Иду сквозь толпу, высматривая Чезаре, и мне неуютно от их близости, от их взглядов. Чую их нюхом, как хищников в засаде. Для меня у всех у них одно лицо, лицо Энгуса, те же жадные глаза, те же грубые руки.

И я замираю, глядя вниз, на свои туфли – какие же они маленькие рядом с их башмаками! Идти бы сейчас вместе с Дот к лодке. Или

спрятаться в нашей хижине. Или вернуться в прошлое, в Керкуолл, к родителям.

– Доротея! – окликает кто-то из пленных. И я оборачиваюсь с надеждой – вдруг она поднимается вверх по склону? Но вновь слышен тот же голос, меня хватают за руку. Вздрагиваю, пчусь, поднимаю взгляд – Джино. В кепке, низко надвинутой на глаза. – Доротея?

Я не забыла. Прячу подальше страх.

– Да.

– Чезаре здесь.

Я в ответ могу лишь кивнуть, язык не ворочается от ужаса.

Чезаре выглядывает из-за спины Джино. Он тоже в шапке, между тем почти все пленные с непокрытыми головами. Завидев меня, он улыбается: *Bella!* – а в глазах немой вопрос: все хорошо? она в безопасности?

Я чуть заметно киваю и вижу облегчение у него на лице. А меня захлестывают чувства, которым нет названия: ревность, горечь утраты, смирение – все вперемешку. Ее любят, любят бесконечно, без оговорок. А у меня в целом мире есть лишь она одна, и я должна с ней расстаться.

Чезаре стоит рядом, ждет, когда начнет расходиться народ. Все, поеживаясь, выходят навстречу дождю и порывам ветра, но вот появляется Энгус, ищет кого-то, непогода ему нипочем. Окидывает взглядом толпу пленных и, отыскав меня рядом с Чезаре, замирает.

Сжав губы в ниточку, он начинает протискиваться к нам, и тут раздается свисток охраны: ужин.

Итальянцы с шумом устремляются вниз по склону, и меня тоже несет вместе со всеми. Чезаре рядом, стоит лишь руку протянуть; впереди, в трех шагах от нас, Джино, он снял кепку. Где-то поблизости маячит Энгус, следит за нами. Наверняка он попытается пробиться ко мне сквозь толпу.

Сзади я беззащитна, но оглянуться не смею.

Чезаре поворачивается ко мне:

– Готова?

Я киваю, хоть и не знаю, что они затеяли, чего ждать.

Джино подносит к губам свисток, как у охранника, и дает короткий сигнал. Справа от нас поднимается шум, крики, возня: двое пленных устроили потасовку. Один с воплями налетает на другого,

остальные оглядываются, смотрят. Свистят охранники, кругом галдеж; Чезаре легонько пожимает мои пальцы и, сняв шапку, пробирается влево, прочь от толпы, от суеты. Секунда-другая – и рядом со мной оказывается Джино, в надвинутой на глаза кепке.

– Надо держаться подальше от *bastardo* Маклауда, – говорит он, – и пусть он поверит, что мы Доротея и Чезаре.

Я киваю. С тревогой высматриваю в толпе Энгуса и наконец мельком вижу его лицо. Он злорадно смотрит, как охранники, разняв дерущихся, волокут их к карцеру.

– Не бойся, – успокаивает меня Джино, – этим двоим и еды побольше дадут, и сигаретами угостят.

Но за них я не волнуюсь – нисколько. Я думаю о Дот, которая ждет Чезаре. Представляю, как он сбегает с холма к заливу, как они садятся вдвоем в небольшую весельную лодку. И стараюсь не вспоминать об опасностях, что таятся в серо-зеленых глубинах. В море цвета болезни, цвета кожи утопленников.

Закрываю глаза, молясь в душе, как будто силой своего желания могу помочь ей преодолеть барьеры целой и невредимой.

А когда все гурьбой устремляются в столовую, иду и я вместе с Джино, надеясь, что нам удастся как можно дольше водить за нос Энгуса.

Столы ломятся от еды. Хлеб, фасоль, дымящиеся миски с рагу. Тарелки с яичницей и даже немного бекона. Пленные ахают от радости, и у меня тоже текут слюнки, хоть мне и страшно; давно я не видала такого изобилия, к тому же успела изголодаться – в эти дни от волнения кусок не шел в горло.

– Еды здесь на две недели, – говорит Джино. – Ведь стройка идет быстро. Один участок достроить осталось, и все. Скоро нам уезжать. Ходят слухи, что нас в Уэльс переводят. Точно не знаю, но сегодня буду есть, пока не лопну! – Джино хохочет, однако во взгляде сквозит тревога – тоже, наверное, волнуется за Чезаре. Прикидывается веселым, как и я, а на деле сам не свой от беспокойства.

Наложив себе полную тарелку, Джино предлагает и за мной поухаживать, но я качаю головой. Наклонившись к моему уху, он шепчет:

– Съешь хоть что-нибудь, *bella*. Не забудь, ты Доротея, а я Чезаре. Пусть все верят. Мы любим друг друга.

– Понимаю, – отвечаю я вяло.

Взгляд Джино полон сострадания.

– Мы доброе дело делаем. Если увидишь *bastardo*, скажи мне, чтоб я успел отвернуться. Надо дать им времени побольше, чтобы подальше уплыли.

Я киваю, пробую булочку, что дал мне Джино. На вкус она как мел.

Вокруг нас пленные – шумят, переговариваются, едят. Энгуса нигде не видно... а, вот он, в углу. К еде тоже не притрагивается, шарит взглядом по толпе. Кивком показываю Джино, где он стоит. Джино поворачивается к Энгусу спиной, а я прячусь за Джино, чтобы не было видно моего лица.

В столовой много гостей из Керкуолла, среди людей в штатском Энгусу труднее будет меня отыскать.

Я смотрю то на Джино, который с аппетитом жует, то на Энгуса и чувствую оценивающие взгляды оркнейцев. И снова заливаюсь краской стыда.

Дот спросила меня однажды, когда мы уезжали из Керкуолла, почему я прячусь, почему избегаю смотреть на себя в зеркало, – может быть, это способ себя наказать? Пожалуй, я и вправду мучила себя за то, что навлекла на нас беду, и считала, что заслуживаю наказания. Но сейчас, видя на лицах земляков злорадство, я понимаю, почему наказывала себя – чтобы оправдать ожидания. Мой стыд, вина, самоедство – все это, как ни странно, служило им утешением. Когда я кляла себя и пряталась, это почему-то прибавляло им уверенности.

И с этой мыслью я отодвигаюсь от Джино, ухожу из-под его защиты. Он беседует с товарищем, смеется и не замечает, что я теперь на виду у Энгуса.

Я жду, и вскоре Энгус встречается со мной взглядом, и сердце падает. То ли он узнал меня, то ли принял за Дот. Так или иначе, наверняка он попытается меня выследить.

Потихоньку пробираюсь к выходу.

Оборачиваюсь и, убедившись, что он идет следом, выхожу за дверь, навстречу холоду и наступающим сумеркам.

У дверей толпятся жители Керкуолла и кое-кто из пленных, но они так рвутся в столовую, стремясь наесться до отвала, что меня едва замечают.

Не оглядываясь, скорым шагом пересекаю двор. Башмаки постукивают по камням. Звук бодрый, уверенный. Вслушиваясь в ритм своих шагов, воображаю, будто это шаги другой женщины, бесстрашной, решительной. Такой, как Дот.

Чезаре, наверное, с ней уже встретился. Они уже в лодке, выходят в темнеющее море. Скоро тьма сомкнется вокруг них, словно сжатый кулак.

Миновав двор и пост часового, я покидаю лагерь. В сердце нарастает страх, животный, сосущий, грозит сокрушить меня, но нельзя ему поддаваться. Нельзя отступить. Оглядываюсь напоследок, тут ли Энгус.

И пускаюсь бегом.

Дороти

Дожидаясь Чезаре, я дважды порываюсь вернуться назад, к Кон. Но тут же вспоминаю, как Энгус молотил Чезаре кулаками по голове, вспоминаю его руки на моем горле. И остаюсь ждать возле лодки. В кармане у меня золотая цепочка Кон. Как дождусь Чезаре, улучу минуту, брошу ее в море.

А вдруг он передумал? Пошел со всеми в столовую, остался с Джино и товарищами? Ради меня он вынужден все бросить, и я все бросаю ради него. Но что, если этого мало? Вдруг мало всех наших жертв, всего, от чего мы отказываемся?

Снова и снова я прикасаюсь к стальному сердцу и представляю руки Чезаре, которые его выковали, гладкий шрам от ожога на его ладони.

На склоне пусто и неудобно. Часовня отсюда не видна. И лагеря не видно, и хижины. Остров выглядит необитаемым, будто выпавшим из времени. Будто здесь ни одной живой души не осталось, лишь я стою на берегу и жду, зажав в ладони собственное сердце.

Наконец вот он, Чезаре, сбегает вниз по кособору к морю. Сначала пугаюсь, нет ли за ним погони, – но нет, никого. Он здесь, пришел за

мной, и все теперь будет хорошо.

Он обнимает меня, оторвав от земли. Щеки у него холодные.

– Я уж думала, ты меня здесь бросишь, – говорю я.

– Я тебя никогда не брошу. – Но в глаза он мне не смотрит, и пусть он здесь, со мной, и голос звучит уверенно, однако я понимаю, как больно ему покидать земляков. И у меня в сердце та же тупая боль, ведь я расстанусь с Кон, оставляю на этом острове часть себя. – Готова? – спрашивает Чезаре, глядя на зеленоватое море, на темные волны с белыми барашками.

– Да.

Вдвоем, борясь с волнами, мы сталкиваем лодку в воду и забираемся в нее, мокрые, дрожащие. Близость ледяной воды на миг вселяет в меня сомнения, но я гоню их прочь. Отступить поздно.

Протягиваю Чезаре весло, и мы вместе гребем, уводя лодку все дальше от берега. Чезаре сперва гребет неуклюже, но сил у него много, и вскоре мы находим ритм, хоть и тяжело бороться с ветром и качкой. Соленые брызги щиплют глаза, попадают в рот, ветер и дождь холодят кожу, но я всю налегаю на весло. Во мне бурлит дикая, неумная сила. Скоро мы будем в безопасности, скоро он будет свободен.

Вдоль северного берега Шотландии много небольших городков, мы с Кон были однажды в тех краях, неделю путешествовали с родителями от Джон-О’Гротса через Уик в Кроуби. Помню тамошние берега – вересковые пустоши с валунами, кустики дрока и, куда ни глянь, ни признака человеческого жилья. А еще помню ветхие, заброшенные фермерские дома, рыбацкие лачуги с провисшими крышами. Мы с Кон прожили в хижине на Шелки-Холме почти год, вот и мы с Чезаре найдем где укрыться, хоть на время, – где-нибудь подальше от людей, там, где ни его акцент, ни темные волосы, ни смуглая кожа ничего не будут значить, потому что никто нас не найдет. И, может быть, если мы обоснуемся на побережье, то от жителей какой-нибудь деревни я смогу узнать новости о Кон. И, надеюсь, когда кончится война, она согласится поехать со мной в Италию.

Может быть. Может быть.

Понимаю, все это пустые фантазии, потому и не делюсь ими с Чезаре. Работаю веслом, и от каждого гребка ломит руки, ноет сердце.

– Когда ты видел Кон, все с ней было в порядке? – спрашиваю я.

– Да, *bella*. – Он прерывисто дышит, но продолжает изо всех сил орудовать веслом. Лодку раскачивает на волнах. – Все хорошо, она с Джино.

Мы приближаемся к барьерам, волны разбиваются о громады из камней и цемента, в последнем оставшемся зазоре выются водовороты. В часовне я слышала слова Нила Макленни, что барьеры изменили направление течений. Всё теперь тащит на север – неизвестно куда. На миг мне представляется, как лодку нашу уносит в немые просторы Северного моря. Если повезет, то нас прибьет к Шетландским островам или к острову Фэр-Айл, где родилась мама. А если не повезет, что вероятнее, нас ждет смерть от жажды.

Лодка раскачивается, кренится. От соленых брызг жжет в глазах.

А где-то Кон, одна, ждет, когда я вернусь.

Ветер доносит крик. Кажется, ее голос. Кажется, мое имя.

Я, наверное, ослышалась... но нет, крик долетает снова, а по барьеру кто-то бежит. В широкой юбке, длинные рыжие волосы развеваются на ветру, закрывая лицо. Она снова зовет меня, машет руками.

А позади нее еще кто-то. Мужчина. Тоже бежит, нагоняет ее. Разрыв сокращается на глазах.

Издали не видно ни светлых волос, ни ухмылки на красивом лице, но я знаю – это он.

– Черт! – вырывается у меня.

Чезаре следует за моим взглядом и говорит что-то по-итальянски.

– Мне нужно вернуться, – кричу я сквозь шум ветра.

– Я с тобой...

– Нет! Нет, даже не думай. Он тебя убьет.

– Я тебя не брошу, – кричит Чезаре. И тут же пытается развернуть лодку, преодолеть течение, что влечет нас в зазор. И я так его люблю. Он не раздумывая готов ради меня рискнуть жизнью. А «я тебя не брошу» он говорит так уверенно, как сказал бы, что солнце горячее, а вода мокрая.

Кон бежит все быстрее, но Энгус нагоняет. Протягивает руки, вот-вот ее схватит.

Сильней налегаю на весло. Надо его опередить. Нет, бесполезно. Течение подхватило лодку и тащит к зазору, где ревет вода.

– Кон! – зову я отчаянно. Но Энгус ее уже настиг. Вот он схватил ее за руку, что-то кричит ей в лицо. Она трясет головой, рвется прочь. Энгус не пускает. А лодку нашу уносит все дальше от Кон.

И я встаю во весь рост, и лодка кренится, а волны взбухают.

Чезаре кричит, хватая меня за руку, но я вырываюсь.

И вижу, как Кон толкает Энгуса в грудь.

Вот он, теряя равновесие, отклоняется назад.

Вот он схватил ее.

Вот оба падают.

Я прыгаю в воду.

Ухожу на глубину, пытаюсь выплыть, борюсь с течением, которое все тащит к барьерам. Волна накрывает меня с головой, тянет вниз, крутит. Со всех сторон ревет вода. Воздуха нет.

Из последних сил рвусь навстречу свету, жизни, но вокруг только бурлящее море. В груди жжет огнем.

Выныриваю, глотаю воздух, смотрю, где Кон, где Чезаре. Но лодки нет, лишь сердитые волны со всех сторон. Отчаяние и страх захлестывают меня. Надо их найти. Плыву к барьерам, где можно выбраться из воды. Но меня вновь накрывает с головой, тянет под воду.

Вот кто-то схватил меня за ногу и увлекает все глубже, глубже, к основанию барьера, где дно усеяно камнями и железом.

И я знаю, кто это – Энгус, хочет меня утопить. И знаю, что есть только один способ выжить, спасти Кон, где бы она ни была, – утопить его самой.

Часть пятая

У бурных чувств неистовый конец^[16].

*Уильям Шекспир, «Ромео и Джульетта»,
акт 2, сцена 6*

*Владеем этим царством мы с тобой,
Звучит в сердцах у нас морской прибой.
Мы выросли под песни зимней вьюги,
Связавшей небо с морем и землей.*

Роберт Рендалл, «Оркни»

Сентябрь 1942

Констанс

Положив мертвеца в карьере, со стальным сердцем на груди, весь остаток ненастной ночи мы сидим у барьера, дрожащие, сокрушенные.

Одежда моя промокла и задубела от морской соли, пальцы сбиты о камни. Пальцы Дот тоже в крови, ее бьет крупная дрожь.

Утрата ее безмерна. Не допущу, чтобы ее наказали за то, что случилось. Она ни в чем не виновата. А утром нам придется держать ответ.

И, глядя, как море становится из свинцового серебристым, а потом добела раскаленным, я обдумываю, что сказать.

И когда за нами приходит охрана, я протягиваю руки и заявляю:

– Это не она. Это я сделала, я.

Но и Дот говорит то же, слово в слово, голоса наши сливаются, и она тоже протягивает руки: берите меня.

– Не смей! – кричу я ей, пытаюсь поймать ее за руку, но охранник хватает ее и, к моему ужасу, нас разводят в разные стороны. Дот тащат к лагерю – наверное, в карцер посадят. А меня подталкивают в сторону холма, где стоит часовня.

Кричу Дот вдогонку, пока она не скрылась из виду:

– Ты ни в чем не виновата! Ни в чем!

Надеюсь, ей слышно. Помню, Дот рассказывала, какая в карцере темнота. Рассказывала про цепи, влажный земляной пол и затхлый дух. За что ее туда сажать? За то, что пыталась бежать, увести Чезаре?

Чезаре. Внутри у меня будто лопнула струна.

– Это все я затеяла, – говорю я охраннику, но тот, будто не слыша, кивком велит мне подниматься на холм. Охранник незнакомый, и во взгляде его, обращенном на меня, нет ни тени сострадания.

– А с пленными что будет? – спрашиваю я.

– На юг переводят, – бурчит он.

– Мне бы повидать...

– Не положено, – отвечает охранник, – со вчерашнего вечера по баракам сидят – сначала погода испортилась, а потом кое-кого недосчитались. Из лагеря никого не выпускают – тех людей, кто из Керкуолла приплыл, заперли в столовой. А теперь вас нашли, хлопот не оберешься. Скоро придет корабль, на юг их заберет. Ну и скатертью дорожка, вот что я скажу.

Вспоминаю всех тех, кого отсюда увезут, кого я никогда больше не увижу, – Джино, Аурелиано, отца Оссини.

– Но они нужны здесь, пусть сначала барьеры достроят! – возражаю я, и голос срывается на визг.

– Это не вашего ума дело, – отвечает охранник. – Лучше за собой смотрите. – Его взгляд для меня как ушат холодной воды. Он ворчит, но лицо смягчилось, и в глазах проглядывает что-то знакомое, такие взгляды я часто ловила на себе в Керкуолле. В нем жалость и страх.

Часовня прекрасна, как всегда. Бледные лучи солнца омывают ее снаружи и золотят изнутри. Но когда за охранником закрывается дверь, меня обдает холодом, и я сажусь у стены, обхватив колени.

Голова раскалывается. Где сейчас Дот? И где Чезаре? Меня переполняет скорбь, я утираю слезы.

Я хотела вас спасти, думаю я. Спасти вас обоих.

Меня сморил сон, а когда просыпаюсь, открывается дверь часовни и на пороге стоит майор Бейтс. Глядя в его строгое лицо, я думаю о том, что хоть он и много хорошего сделал, пока строили часовню, но все-таки он боевой офицер, убивал людей, своими либо чужими руками. Это он отправил Чезаре в карцер.

Пытаюсь встать, однако ноги не слушаются.

Майор стоит напротив, заложив руки за спину, и смотрит на меня задумчиво.

– Констанс, да?

Я киваю, в горле комок.

– Кажется, мы не знакомы, Констанс. Но у вас большие неприятности.

– Я сама виновата, – шепчу я.

– Это я уже слышал. – Майор садится подле меня на корточки, заглядывает мне в лицо. В его темно-серых глазах видна усталость. Лицо землистое, одутловатое. В этот миг он кажется стариком. Есть ли

у него дети – или внуки? Сажает он их на колени, читает им вслух? И как ему спится ночами, когда пленные заперты в карцере – и моя сестра тоже?

– Это все я затеяла, – твержу я в отчаянии. Может быть, если он мне поверит, то отпустит ее?

– Старая песня. – Почесав голову, он садится на пол, не спуская с меня глаз. – Расскажите, как все было?

– Я... я ничего не помню.

– Что ж, – в его улыбке сквозит теплота, – раз не помните, почему же вы так уверены, что это вы все затеяли?

– Просто знаю, и все. Только многого не помню.

Майор наклоняется ближе:

– А что же вы помните?

Волны. Крики. Скалы. Труп. Ужас.

Сейчас все это кажется сном, будто подернуто дымкой. Чем упорнее пытаюсь вспомнить, тем дальше ускользают воспоминания. Утекают, словно вода сквозь пальцы.

Сажу, сцепив на коленях руки, разглядываю сбитые костяшки.

– Помню, как пыталась выплыть, – говорю я. – И больше ничего, до той минуты, когда меня сюда привели.

Майор со вздохом встает, вытирает ладони о брюки. Я жду, скорей бы он ушел, но он разглядывает убранство часовни и не знает, что я за ним наблюдаю. В эту минуту лицо у него изумленное, незащитное, детское.

– Невероятно, – говорит он вполголоса. И, взглянув на меня, прибавляет строго: – Вчера вы пережили трагедию. Надо постараться все вспомнить.

Он выходит, хлопнув дверью, и слышно, как лязгает задвижка. Снаружи доносится его голос и еще один, мужской, потом удаляющиеся шаги; полоску света, что льется в щель, накрывает чья-то тень.

Меня заперли, а у входа поставили часового.

Бледные лучи солнца пробились в окно, и по стене напротив ползет тусклый квадрат света. Он выхватывает из тени узорную алтарную решетку, нарисованных птиц. Я вспоминаю, как все это

расписывал Цезаре. Думаю о его товарищах, это они красили плитки у меня за спиной. Где они сейчас – еще здесь, на острове?

Подбираюсь к двери, заглядываю в щелку рядом с одной из дверных петель. Если зажмурить один глаз, можно различить склон холма, а на нем, размытым пятном, лагерь – или это просто игра света и тени?

Представляю, как пленные покидают наш остров: грузятся на корабль и, обойдя барьеры, минуют опасное течение, которое все сносит в сторону. В мыслях я не даю кораблю зайти в Уэльс. Пусть он идет дальше, на юг, обогнет Францию, Испанию и через узкий пролив Гибралтар выйдет в Средиземное море. Пусть он доставит итальянцев на родину в добром здравии. В мыслях я поднимаю из руин их дома и храмы, воскрешаю из мертвых их близких. Пусть они сойдут на берег и сильными руками обнимут своих матерей. Пусть баюкают детей, целуют их в лоб и рассказывают им на ночь сказки о затерянном северном острове, где обитают в морской пучине диковинные существа.

Просыпаюсь, лежа щекой на холодном кафеле, головой к двери, и свет, что льется в щелку, стал иным – ярким, слепящим. Видно, время близится к полудню.

За дверью шорох – должно быть, он меня и разбудил. Слышно, как отодвигают засов. Дверь отворяется, и вот уже не слабый свет из окна, а целый сноп лучей озаряет часовню. Вскидываю руку, чтобы заслониться, и на миг слепну.

– Здравствуй, Кон.

В часовню входит Джон О'Фаррелл.

– Здравствуйте. – Голос меня не слушается, будто я несколько дней не разговаривала. Не знаю, в каком качестве он сюда пришел – как мэр Керкуолла или как друг семьи, а спросить не решаюсь.

Вид у него измученный, как и у майора Бейтса, лицо осунулось, на веках тончайшая паутинка сосудов.

– Зайти не пригласишь? – спрашивает он, и я вежливо улыбаюсь, хоть и нахожу вопрос не вполне уместным. А может, мне лучше и вовсе не улыбаться, даже в ответ на шутку? Если увидят, что я могу улыбаться после всего, что случилось, не сочтут ли меня бессердечной?

Джон, очутившись в часовне, дивится росписям, как и все. Не знаю, может ли красота примелькаться. Надеюсь, нет.

– Майор Бейтс говорит, у тебя провалы в памяти, – начинает Джон.

– Да. – Смотрю в пол, чтобы не выдать себя взглядом.

– Но майор говорит, ты во всем винишь себя. И сдается мне, Кон, что-то здесь не так. Может быть, ты путаешь? Может быть, это кто-то другой затеял, а ты пошла на поводу?

Я молчу. Джон отворачивается, смотрит в витражное окно, на лице играют цветные блики.

– Может, это Энгус придумал? Или тот пленный, Чезаре, – могло ему в голову такое прийти? Или Дот?

– Нет, это не Дот! – восклицаю я. – Дот тут ни при чем.

На крышу часовни садится птица и тут же вспархивает, хлопая крыльями, будто трепещет чье-то испуганное сердце.

Джон, задумчиво кивнув, идет вглубь часовни, прикасается к алтарю, к дарохранильнице, к чаше для святой воды – кажется, будто она из камня, а на самом деле из автомобильной покрывки и выхлопной трубы, а сверху залита цементом.

Чуть раньше и я прикасалась к чаше, вспоминая, какая она на ощупь. Внизу под чашей что-то блеснуло. И я достала оттуда кусок металла, длиной и толщиной с мизинец, с острым, как нож, краем. И спрятала в рукав.

Джон О'Фаррелл все не может налюбоваться часовней. И я вспоминаю, как было здесь уютно и покойно, совсем как дома. Вспоминаю, как звенел здесь смех итальянцев и отдавался эхом, будто под куполом большого собора.

Голова гудит.

– Но прошу, пойми, – продолжает Джон, – дело очень серьезное, подумай о последствиях. Речь о... об убийстве, Кон.

Представляю балку, с нее свисает длинная веревка. Меня вздергивают. Веревка, словно чьи-то упрямые руки, сдавливают горло.

У меня вырываются частые, хриплые вздохи.

Соберется народ, посмотреть, как меня будут вешать, – точно так же смотрят, как тащат невод или как забивают скот. Потом все разойдутся по домам и за ужином станут обсуждать казнь. История о моей смерти их согреет.

Сжавшись в комок, стискиваю себе горло.

– Дыши глубже, – велит Джон. – Медленно-медленно.

Да где там! Я дышу словно сквозь узкую трубочку, смотрю в одну точку.

Джон выводит меня из часовни, взяв под локоть. Щурюсь от яркого света и будто издалека слышу, как возмущается охранник, а Джон кричит на него, и тот уступает.

Джон ведет меня под гору, прочь от часовни, от лагеря с карцером, от барьеров, в сторону залива. Я плетусь рядом, как слепая, с хриплой одышкой, а он твердит снова и снова:

– Не спеши. Тихонько, тихонько.

Таким голосом успокаивают испуганных животных; но вскоре я, отдышавшись, прихожу в себя.

Затекшие руки-ноги чуть отпускает, вижу, как чайки ловят в океане рыбу, как клубятся тучи на горизонте. Вдохнув поглубже, жмурюсь и поворачиваюсь к солнцу, перед глазами красная пелена.

– Простите, – говорю я. – Мне бы повидать Дот – думаю, я бы успокоилась.

Джон, не глядя на меня, качает головой:

– Пока нельзя.

Что же мне сказать, чтобы меня к ней пустили? Что скажет она про меня? Должны ли наши истории совпадать? Я не стану ее винить, ни за что, и знаю, что и она меня не станет. Так и не сойдутся наши версии, и застрянем мы здесь навсегда.

Мимо проносится сапсан, летит к прибрежным скалам. Замрет на скале, как горгулья, а заметит добычу – бесшумно бросится на нее и настигнет в полете. Вихрь перьев, кровь, кости: буйство жизни и внезапность смерти.

О'Фаррелл останавливается, осторожно трогает меня за локоть:

– Я тебе кое-что принес. Чуть не забыл. – Пока он шарит в кармане, успеваю собраться с духом, и вот он кладет что-то мне в ладонь. Холодное, увесистое, из металла. Я и не глядя знаю, что это, но все равно заставляю себя взглянуть.

Стальное сердце.

– Думал, тебе это поможет вспомнить.

Взмывает ввысь утка. Сапсан устремляется вниз.

– Ничего не помню, – отвечаю я. Сердце тяжелое, холодит ладонь. Когда Дот впервые протянула его мне, оно было теплое, а смех Дот звенел радостью.

«Это обещание», – сказала она.

Я без слов поняла, что ей было обещано. А теперь оно лежит у меня в ладони, обжигая холодом.

Сапсан падает камнем. Утка не успевает и пикнуть.

Улыбка сходит с лица Джона.

– Расскажи, как ты вчера вечером встретила Энгуса.

Вспоминаю нашу схватку на барьере. Он выкручивал мне руки, орал. Потом – толчок, падение, ледяная вода.

Дальше не хочу вспоминать.

Стальное сердце помещается у меня в ладони. Цезаре рассказывал, что сердце у человека размером и весом с кулак. Вряд ли мое весит столько же, сколько стальное. Оно колотится, словно молот, и налито свинцовой тяжестью.

– Когда ты в последний раз видела Энгуса? – спрашивает Джон. Лицо у него серьезное, доброе. Может быть, я и могла бы ему рассказать все, но чем это обернется? Стоит рассказать хотя бы часть истории, как она начнет преображаться, и в устах людей, и в умах. Рассказал историю – и она уже не твоя.

– Не помню, – повторяю я в который раз.

Джон О'Фаррелл устремляется дальше, и я шагаю следом, хоть голова и кружится.

– Сейчас упаду. – Отворачиваюсь от него, отгораживаюсь от мыслей о стальном сердце. И вот впереди море: шум прибоя словно стук сердца, языки пены, вода спокойная, будто ничего и не случилось. Во рту сухо. Закрыв глаза, вновь слышу свое шумное дыхание.

– Тебе плохо? – О'Фаррелл берет меня под руку. – Вот, садись, здесь вереск сухой.

Я сажусь, а он опускается подле меня на корточки, напряженно щурясь. Стараюсь дышать поглубже, подольше не открывать глаз. Чувствую его взгляд, устремленный на меня.

– Хватит у тебя сил пройти по берегу? Понимаю, тебе бы отдохнуть, но мне от тебя нужна правда. Попробуй вспомнить, Кон.

Я киваю, и он помогает мне встать с земли.

Мы идем дальше, а сапсан пронесется мимо, к прибрежным утесам, где он будет терзать добычу. В когтях у него безвольно болтается утка. Сапсан взмывает ввысь, изящный, прекрасный, ведь отсюда не видно, что голова и клюв у него в крови.

Море отступило, обнажив илистые отмели с островами погибших кораблей и с широкой лентой водорослей на месте линии прилива.

Ступаю на песок и останавливаюсь между морской травой и морем – между линиями прилива и отлива.

О'Фаррелл ждет меня, не переступая черту из морской травы.

– Не знала, что вы такой суеверный.

У нас верят, что в полосе этой бесы резвятся, потому что земля здесь ничейная, не море и не суша.

Шагаю по выглаженному волнами песку под пристальным взглядом О'Фаррелла. Там, где он стоит, тянутся гирлянды ламинарии и валяется всякий мусор, вынесенный морем: куски досок, лоскут от рубашки, мужской кожаный башмак, будто вросший в песок. Сдается мне, примета не совсем верна, бояться надо линии прилива, вот где скапливается все дурное. Вот куда выносит все, что пропало во время штормов. Волосы у меня встают дыбом.

Кивком подзываю О'Фаррелла; он, чуть помедлив, качает головой и подходит ко мне.

– Я хочу знать, что случилось, – настаивает он. – Если ты сейчас же скажешь мне правду, я смогу тебе помочь.

– Правды я не знаю. – Я не говорю Джону, что помочь мне не сможет никто. Все это дело времени, и я тяну время, будто пряду золотую нить, в надежде спасти сестру и самой избежать петли.

– Ну же, Кон, – торопит меня Джон. Сжимает на миг кулаки, но, увидев, как я изменилась в лице, тут же прячет руки в карманы. Стараюсь подавить внезапный темный ужас, сковавший меня. Напоминаю себе, что Джон меня не обидит. Он всего лишь мужчина, с большими руками и стальными мускулами. Он не отдает себе отчет, что малейшее его движение может нести угрозу. Не сознает, что мужская сила способна лишить женщину дара речи или вынудить ее сказать «да», когда внутри все кричит «нет».

Джон смотрит мне в глаза, и видно, что он раздосадован, хоть и пытается это скрыть. И ему не понять, что я каждой клеточкой

чувствую, что захоти он, мог бы сделать со мной что угодно – проломить череп, словно яичную скорлупу, свернуть мне шею одной левой. Он может сказать: «Ну же, Кон» или «Не тяни, Кон», и у него даже в мыслях нет мне угрожать. Но для меня это все равно угроза. Вздумай я так же запугать разъяренного мужчину, мне пришлось бы разгуливать с ножом. И за разговором доставать его из-за пояса и не спеша точить, а собеседник дрожал бы от страха.

Джон протягивает руку:

– Тебе плохо?

Я напрягаюсь, отшатываюсь:

– Не трогайте меня!

– Кон, – голос у него робкий, глаза полны ужаса, – я бы тебя ни за что не обидел.

И он снова тянется к моей руке, а я задыхаюсь, потому что в мыслях у меня Энгус. Его лицо, дыхание, его тяжесть.

Ко мне возвращаются воспоминания.

Боже, ну и тяжелый он был! Еле доволокли, и казалось, он на нас смотрит пустыми глазами. Я боялась глядеть на него – чего доброго, станет мне являться в ночных кошмарах. Старалась воспринимать его не как целое, а как набор частей. Ноги. Руки. Грудь. Губы. Глаза.

Заслоняюсь от света; надо сознаться, во всем сознаться. Рассказать Джону все, что мне удалось вспомнить, или Дот никогда не освободят.

Сглотнув, делаю вдох. И говорю чуть слышно:

– Я не собиралась его убивать. Это был несчастный случай.

Джон уже не держит меня за локоть.

– Убивать... кого убивать?

Я не в силах произнести имя.

Роняю лицо в ладони, а Джон пытается отвести мои руки:

– Кого убивать, Кон?

– Энгуса, – шепчу я.

Джон отшатывается.

– Энгус погиб? – Лицо у него потрясенное, в остановившихся глазах испуг.

Я чуть не плачу, горло саднит. Сейчас я сама же произнесу себе приговор, но иначе нельзя. Надо взять вину на себя.

– Это был несчастный случай, – говорю я. – Энгус меня догнал на барьере. Схватил, и... Мы оба сорвались. И он разбился о камни. Я его дотащила до карьера. Дот тут ни при чем.

Сейчас он придет в ярость. Сейчас позовет охрану, и меня уволокнут, посадят под замок.

Но он без тени гнева кладет руку мне на плечо. Он будто сражен горем: глаза красные, и, кажется, вот-вот заплачет. Он говорит с запинкой:

– Тело... Тело в карьере. По-твоему... это Энгус?

Я тупо смотрю на него. И ничего не понимаю. Как будто он пытается что-то до меня донести, но я разучилась воспринимать человеческую речь.

– Да, Энгус, – шепчу я. – Я же видела.

– Ох. – Он крепко меня обнимает. – Бедная девочка. – От его свитера пахнет чем-то горьковатым – шерстью и мхом, и мне чудится на миг, будто меня обнимает отец или Дот, которая меня любит больше всех на свете.

Голова идет кругом; закрыв глаза, прижимаюсь к нему щекой. И собираю всю волю, хоть в глубине души знаю, что он мне скажет.

– Там, в карьере, – говорит он, – не Энгус. Где Энгус, неизвестно.

Джон ведет меня обратно в часовню, чтобы уложить. В висках пульсирует кровь, и по дороге меня дважды выворачивает наизнанку. Джон обещает прислать ко мне доктора, а пока что ему необходимо переговорить с майором Бейтсом, попытаться восстановить картину. А в часовню принесли матрас, и придется мне здесь переночевать, пока они решают, что делать.

Я киваю, но почти не слышу, что он говорит. Покорно следую за ним вверх по склону, в часовню, в спальный угол, и он со мной прощается, дав слово вернуться завтра.

Дверь за ним закрывается, и вот я снова одна, в темноте.

Слова Джона шуршат в голове морскими камешками.

Там, в карьере, не Энгус. Ах ты бедная девочка.

Время тянется, разматывается длинной нитью. Провожу пальцем по гладкому краю стального сердца. Взвешиваю его в ладони, словно камень. Легонько постучав им по лбу, подношу к виску. Стук моего сердца отдается в кончиках пальцев и в металле.

Смотрю в окно часовни. Свет сменяет темнота – настоящая темнота, знак того, что лету конец. Темнота как первая весточка от зимы, когда жизнь замирает.

На другом берегу пролива, в керкуоллском морге, лежит тело, и мне страшно о нем думать. Стоит дать волю мыслям, и к горлу подкатывает едкий ком. И, чтобы не думать, я смотрю, как за окном меняется свет. А там, в окне, звезды рассыпаны по небу, словно крупа, все острее горит в ночи молодой месяц.

Нет, бесполезно. В морге лежит труп, и я в опасности. Я точно это знаю. Что же со мною будет?

Констанс

Снова и снова просыпаюсь, а когда засыпаю, приходят сны, один другого страшнее. Надо мной бурлит вода, чьи-то руки не дают выплыть.

О'Фаррелл сейчас в Керкуолле; он говорит, что хочет меня спасти, но я точно знаю, не миновать мне виселицы. А как иначе, раз я во всем призналась? Голова трещит. В полутьме, при слабом свете луны из окна, пытаюсь разглядеть свое отражение. И вижу бледное, измученное лицо, не могу смотреть в эти запавшие глаза.

Ложусь на матрас, сжимаюсь в комок.

Просыпаюсь. Засыпаю.

Барахтаюсь в воде, но руки-ноги будто налиты свинцом. На дне покоится изуродованный остов «Ройял Оука». Матросы-утопленники тычут в меня костлявыми пальцами, скалятся их черепа. И я тоже должна быть тут, лежать на дне холодным трупом.

Просыпаюсь. Засыпаю.

Снится мне, будто Чезаре и Дот, стоя в лодке, говорят обо мне.

«Она не виновата», – уверяет Дот.

Чезаре в ответ: «По-моему, она чокнутая».

Дот предлагает: «Брось ее за борт, посмотрим – всплывет или не всплывет».

Они подхватывают меня, и на один миг я вновь близка к ним. Цепляясь за них, кричу: «Не отпускайте меня!» Меня бросают в холодную воду. Камнем иду ко дну.

Просыпаюсь. Засыпаю.

Со всех сторон подплывают ко мне тюлени, смеются. Если они скинут шкуры, то обернутся прекрасными девами.

Снова просыпаюсь в темноте, отворяется дверь. Сердце екает. Кто-то крадется ко мне, лица не видно. Замираю, прикинувшись спящей. В висках стучит кровь, но я стараюсь дышать ровно. Под матрасом у меня спрятан обломок железа, найденный под чашей для святой воды.

Кто мог пробраться в часовню среди ночи? Охранник, заглянул меня проведать? Услышал, как я плачу во сне? В памяти оживает ночной кошмар: Дот и Чезаре, разжав руки, швыряют меня за борт.

Тень подступает ближе, открываю один глаз. Это не Джон О'Фаррелл, слишком стройный силуэт – должно быть, кто-то из охраны, судя по скрипу башмаков. Стараюсь не дышать.

Прошу, уходи. Умоляю, оставь меня.

В серебристом лунном свете на пол ложится тень. Незванный гость нависает надо мной этакой громадиной, приближается еще на шаг. Подходит вплотную к моей постели. Чувствую жар его тела, слышу хриплое дыхание.

Ну же, уходи. Лежу неподвижно, жду, надеюсь.

Он склоняется надо мной. Секунда тишины, и он хватает меня – одна рука поперек горла, другая зажимает рот.

Открыв глаза, кричу, но получается глухо, будто из-под воды.

– Цыц!

Энгус Маклауд со мной нос к носу. На лбу у него кровь, все лицо в грязи и синяках. Вырываюсь, силюсь дохнуть, крикнуть, но воздуху мало. От него пахнет потом и чем-то еще – едким, звериным, будто он вылез из-под земли, приполз сюда из склепа.

Я брыкаюсь, пытаюсь его лягнуть, вырваться, но он навалился на меня всей тяжестью. И все сильнее давит локтем на горло.

– Не шевелись, – велит он. – А то хуже будет.

Я слушаюсь. В глазах мелькают мушки, в ушах стучит. Еще чуть-чуть, и он меня задушит.

Смотрю на него с немой мольбой сквозь пелену в глазах.

Воздух, глотнуть бы воздуху.

– Если отпущу, – спрашивает Энгус, – не закричишь?

Я мотаю головой.

Он ослабляет хватку, и я глотаю воздух, в горле жжет огнем.

– Как?.. – выдыхаю я. – Ты же в море упал. Я думала...

– Думала, я утонул? Или меня в океан унесло? Меня выбросило на северном берегу острова. Головой ударился. Долго сюда добирался. И услышал от охранников, что тебя здесь держат, вот и решил проведать.

– Возвращайся в Керкуолл, – говорю я, давясь кашлем. – Друзья тебя будут искать.

– Да плевал я на них, – отвечает он. – Я тебя хотел повидать. – Он проводит пальцем по моей щеке, по шее. – Я тебе сделал больно? – спрашивает он. – Я не хотел, но думал, ты закричишь.

– Ты мне не сделал больно, – вру я.

Он ласкает мою шею. Меня пробирает до мурашек, но, чтобы его не злить, я не отстраняюсь.

Уходи, молню про себя. Скорей уходи.

– Рада меня видеть? – спрашивает он.

Я киваю, чуть заметно.

Энгус приказывает:

– Скажи, что рада.

– Рада тебя видеть. – Голос срывается.

– Ты меня с барьера сбросила, – продолжает Энгус, – чуть не утопила.

– Прости, – отвечаю я. И смотрю на дверь. Наверняка часовому слышно, как мы тут разговариваем.

Энгус, будто угадав мои мысли, говорит:

– Часовой? Джон О'Фаррелл его отослал обратно в Керкуолл, я видел, как он с поста уходил. Значит, время у нас есть. – Улыбаясь, снова гладит меня по щеке. Меня пробирает озноб. – Да не смотри ты на меня так, – говорит Энгус. – Не бойся.

Всеми силами стараюсь не выдать страха. Зубы стучат. Сжимаю челюсти.

– Успокойся, – велит Энгус. – Улыбнись. – И опять гладит меня по щеке.

Вместо улыбки у меня выходит гримаса ужаса.

– Ну вот, другое дело, – говорит Энгус. – Правда ведь, лучше?

Я киваю. Горло саднит, голова раскалывается. По щеке ползет слеза, из последних сил сдерживаю рыдания, ведь ему нужно видеть меня довольной. И, может быть, если я буду слушаться, он от меня отстанет.

– Нечего бояться. Мы же с тобой старые друзья, ведь так?

Опять киваю.

Он чмокает меня в щеку, слегка царапая щетиной. Я жмурюсь, стараясь не дышать, чтобы не вдыхать его запах.

– Посмотри на меня, – говорит он.

Открываю глаза, заставляю себя на него взглянуть. В глазах у него слезы.

– Я тебя люблю, – говорит он. – Но я столько от тебя натерпелся. Ты меня отталкивала, пряталась.

– Прости, – шепчу я.

Его рука ласкает мою шею.

– Я сказал, я люблю тебя, Кон. Слышишь? – Он сдавливает мне шею сильнее.

– Да, – шепчу я.

– Ну так скажи.

Голова трещит, во рту привкус кислоты.

Слова, внушаю я себе. Подумаешь, слова. И может быть, если я их произнесу, он меня отпустит. Может быть, он этим удовольствуется и оставит меня в покое.

Да только знаю, что не оставит. И ненавижу его за это. Ненавижу его заплаканное, полное надежды лицо. Но вот он сильнее сдавил мне горло. Помню его локоть поперек моей шеи. Помню, как ничего вокруг себя не видела, как жгло в груди. Помню, что он вовсе не был разъярен. Лицо у него было спокойное, сосредоточенное. Холодное.

– Скажи, – требует он.

Ненавижу, говорю про себя.

– Я тебя люблю, – выдыхаю я.

– Ах, Кон, – уверяет он, – все будет прекрасно. Мы будем прекрасной парой. Вот увидишь.

Он прижимается губами к моим губам, раздвигает их языком, и от омерзения меня едва не выворачивает наизнанку.

Подо мной, между лопаток, лежит что-то холодное, жесткое. Знаю, что это – стальное сердце. Меняю позу, а Энгусу кажется, что я

отзываюсь на его ласки.

Он пыхтит, смотрит на меня с нежностью, снова гладит меня по шее, проводит пальцем вдоль ключицы. Взяв в ладони грудь, тычется в нее лицом и стонет.

Глаза мои плотно закрыты.

– Посмотри на меня, – требует он.

Открываю глаза. На его лице радость, нетерпение, ожидание.

– Хочу тебя сделать счастливой, – говорит он с жаром. – Знаю, я могу сделать тебя счастливой. Сама увидишь, только ты мне поверь. Ты же хочешь счастья, да?

Я не в силах вымолвить ни слова.

– Разве нет? – В голосе его звенит металл.

Я киваю и вновь замираю неподвижно.

Рука его скользит от моей груди к бедру. Он гладит меня сквозь тонкую ткань брюк. Меня бьет дрожь, но отшатываться нельзя, лучше его не злить.

Рука его сползает ниже, к поясу брюк, он спускает их до колен. Он нежен, улыбается мне.

– Повтори, – просит он.

– Я тебя люблю, – шепчу я.

– Улыбнись, – велит он.

Чтоб он сдох. Чтоб его удар хватил. Или сердце остановилось. Я улыбаюсь.

Руки он положил мне на бедра и жарко дышит в лицо.

От него пахнет сырой землей и падалью.

Смерть, думаю я. Смерть, гроб, склеп.

Он подминает меня под себя, покрывает лицо поцелуями. Я лежу как мертвая. Снова и снова считаю до десяти. Он спускает мои брюки все ниже. Сжимаю бедра, но руки у него сильные, настойчивые.

– Давай, – говорит он. – Больно не будет, обещаю.

Свожу ноги намертво. Стискиваю зубы, всеми силами стараюсь отгородиться. Он разводит мне бедра, и я закрываю глаза.

Стальное сердце впивается мне в спину.

– Мы будем так счастливы, – уверяет Энгус.

Сердце обрывается, меня насквозь пронзает звериный ужас.

– Не надо! – кричу я, пытаюсь его оттолкнуть, лягаюсь, царапаюсь. Заношу руку, метя ему в лицо.

Он бьет меня наотмашь по щеке. Удар отдается в голове звоном. Еще удар. Пытаюсь увернуться, но он, схватив меня за волосы, дергает раз, другой. Вскрикиваю от боли – он вырвал у меня клочок волос.

– Сама напросилась, – рявкает Энгус.

Лицо его расплывается перед глазами, смагиваю слезы. Он ждет, наблюдает за мной.

– Я не хотел тебе сделать больно, – говорит он. – Ты сама напросилась.

– Прости, – шепчу я.

– Только попробуй еще хоть раз меня ударить, – предупреждает он. Взгляд у него ледяной. – Думаешь, тебе это с рук сойдет? Сделаешь больно мне – больно будет и тебе. Поняла? – Он по-прежнему держит меня за волосы. Боль адская.

Я киваю.

– Поняла? Отвечай. Говори.

– Поняла, – шепчу я.

– Вот и славно. – Он кладет руку мне на бедро.

Я знаю, что сейчас будет, и каменею. Мысли путаются, отступают в самый темный уголок сознания. Я ничего не чувствую. Не чувствую движений его руки. Ничего. Тело стало ватным.

– Так-то лучше. – Он снова целует меня, рука проскальзывает между бедер.

И снова знакомый животный ужас, но что толку сопротивляться?

Шарю свободной рукой под матрасом. Энгус думает, что я отвечаю на ласки, и крепче прижимается ко мне, стонет, обдает меня жаром. Я не в силах дальше сдерживать его напор.

Дотягиваюсь рукой туда, где меж лопаток впивается в меня стальное сердце.

Нащупываю его, достаю.

И с размаху бью Энгуса в висок.

Он содрогается всем телом, губы обмякают, и он оседает мертвым грузом.

Сталкиваю его с себя, и он мешком валится на постель.

Он умер, думаю я. Я его убила.

Нет, еще дышит.

Сползаю с матраса, пытаюсь нащупать острую железяку, что нашла сегодня под чашей для святой воды. Величиной с мой мизинец,

но больше под рукой ничего нет.

Достаю ее из-под матраса. Жду, сжимая ее дрожащими пальцами.

Энгус хрипит и стонет, будто очнулся от глубокого сна. Веки его подрагивают.

Я пинаю его в ногу:

– Вставай.

Он снова стонет, взгляд встречается с моим. В глазах вспыхивает гнев, но тут он замечает у меня в руке острый кусок металла. Я помахиваю им в воздухе.

– Вон отсюда, – говорю я. Голос меня не слушается.

Энгус моргает, хмурится – и ни с места. Каждый удар сердца отдается у меня во всем теле. В ушах стучит.

– Вон отсюда, – повторяю я. Сжимаю кусок металла еще сильнее, аж костяшки белеют, и целюсь ему в горло.

Энгус, перекатившись на бок, поднимается. И стоит, пошатываясь, вот-вот упадет навзничь. Будет лежать мертвым на матрасе, а утром попробуй объясни Джону О'Фарреллу, откуда он тут взялся.

Он смотрит на кусок металла у меня в руке, и я готовлюсь к худшему: сейчас он выхватит его и снова на меня набросится, пригвоздит к месту.

– Сейчас глотку тебе перережу, – грожу я.

Энгус, пошатнувшись, направляется к двери.

Торопливо подтягиваю брюки. Меня трясет, ноги подгибаются.

Энгус спотыкается, хватается за голову и ковыляет вон из часовни, оставив дверь нараспашку.

Наползает ночь, темная, беззвездная.

Вздрагиваю, и стук сердца отдается в горле, в кончиках пальцев. До сих пор чувствую тяжесть Энгуса, едва не сокрушившую меня, его холодную, как у дохлой рыбы, кожу. Его запах. Закрыв глаза, считаю секунды. Сдерживаю тошноту.

На моем ложе поблескивает стальное сердце. Оно измазано кровью.

Я сжимаюсь в комок, обхватываю себя руками, крепко-крепко. Еще крепче. И все равно будто разваливаюсь на части. Сажусь в углу скрючившись, стиснув стальное сердце в ладони до дрожи в пальцах. Меня трясет, зубы выбивают дробь.

Никогда в жизни я так остро не чувствовала одиночества. Нет больше рядом со мной Дот. Нет и не будет.

Никогда.

Вспоминаю слова Джона О'Фаррелла, его искаженное горем лицо. «Там, в карьере, не Энгус».

А теперь встреча с Энгусом лишила меня последней надежды. Почему-то, вспоминая, как волокла труп в карьер, я представляла лицо Энгуса. Мысленно видела его изувеченным, окровавленным. Мертвым. И даже после слов Джона О'Фаррелла, что тела Энгуса не нашли, что он исчез, я вопреки всему надеялась: вдруг это ошибка?

Я отказывалась верить его словам, что в карьер я отнесла тело сестры.

Теперь Дот лежит в морге, в подвале керкуоллской больницы.

Когда О'Фаррелл мне все это рассказывал, он не мог сдержать слез.

Я в ответ покачала головой. С губ сорвался какой-то звук, не слова. Я рухнула к ногам О'Фаррелла, не давала ему поднять меня с колен, потому что... нет, нет, нет! Никто мне не поможет, только она. И как это – ее больше нет? Быть такого не может – это как если бы у меня не стало вдруг руки. Или глаз, или сердца. Или души.

Но, увидев Энгуса, я наконец поверила. Дот лежит одна, заброшенная, безжизненная. Остывшая.

Я снова вспомнила ее холодную кожу, ледяные губы. Глаза, застывшие, невидящие.

Нет!

Она всегда боялась холода. Воскрешаю в памяти ее смех, тепло ее руки в моей. По ночам, когда мы лежали спина к спине, я не отличала ее дыхание от своего.

Теперь, если закрыть глаза, мне чудится, будто она зовет меня. Слышу и мамин голос, и голос отца. Умолкнувшие голоса зывают ко мне из моря. Забиваюсь еще глубже в угол, не в силах унять дрожь.

Никогда больше я не увижу ее улыбку.

Она любила класть голову мне на плечо. Как сейчас помню ее тяжесть, переливы ее смеха.

Разве может человек просто взять и исчезнуть? Уйти из мира, будто и не жил никогда? Земля так и будет вращаться и солнце будет вставать по утрам? И как это так – я все еще дышу, а ее больше нет?

Если я здесь останусь, не миновать мне виселицы. Энгус об этом позаботится, всем расскажет, что я пыталась его убить. Расскажет, что я и сестру свою убила, утопила. Соврет, что он всему свидетель. И меня повесят.

И есть в этой мысли что-то притягательное. Успокоительное.

Закрываю глаза, и чей-то голос внутри, то ли ее, то ли мой, шепчет: нет!

Не хочу жить без нее. Но жизнь теперь у нас одна на двоих.

Подхожу к двери часовни, откуда тонкой полоской струится тусклый свет.

Энгус ковыляет по барьеру, загребая ногой. Из-за обрывка облака выглядывает луна. Рана на голове у него, должно быть, сильно кровоточит. Даже отсюда виден кровавый след, что ведет от часовни, поблескивает при луне.

Выхожу за порог. Морской ветер встречает меня, подталкивает, побуждает идти вперед. В этот миг мне кажется, будто Дот рядом, тянет за собой.

Будь она здесь, мы пошли бы за Энгусом следом. Смотрели бы, как он ковыляет, спотыкается. Он оглянулся бы, увидел нас, ускорил шаг. Представляю, как в нем шевельнулся бы страх; я знаю, как и любая женщина, как страх способен превратить все твои мускулы в воду, как от ужаса сжимается все внутри, к горлу подкатывает ком, не дает вдохнуть.

Всякой женщине знаком страх перед темнотой, страх, что за тобой следят, страх, от которого сердце – бедное обезумевшее сердце – прыгает в груди, как перепуганный кролик. Беги не беги, все равно догонят, и сердце это чувствует.

Мы знаем, что такое ночная погоня, когда от напряжения пересыхает во рту. Нам наперед известен конец.

Но для Энгуса страх этот нов и непонятен. Он мужчина – богатый, сильный, молодой, красивый. Вся жизнь его была как сказка, день за днем мир раскрывался перед ним, словно лопнувший от спелости персик. Хочешь – растопчи, хочешь – съешь, хочешь – оставь на земле, пусть гниет. Как душе угодно.

Но только не сейчас. Сейчас Энгус, пошатываясь и спотыкаясь, роняет в воду капли крови, а следом гонится существо из ночных кошмаров.

Для него я сейчас не женщина, я чудовище из древних легенд. Я шелки, всплывшая из морских глубин, чтобы вырвать ему сердце. Я Наклави без кожи, восставший из моря.

Наброшусь на него сзади, с окровавленными руками, рыча от ярости.

Толкну его изо всех сил и полюбуюсь, как он летит с барьера.

Услышу, как оборвется крик, когда он ударится головой о камни.

Буду смотреть, как тело его лижут волны, а из головы, расколотой, словно яичная скорлупа, струится кровь.

И ничего не почувствую.

Зачерпну пригоршню песка, присыплю капли крови на тропе и пойду обратно в часовню.

Под утро вновь поднимется ветер и развеет кровавый песок.

Захлопнув за собой дверь часовни, оставляю снаружи ветер, кровь и ярость. Едва дыша, сажусь на пол, закрываю глаза. До сих пор чувствую его хватку, его тяжесть, в ушах звенит его голос.

– Его нет, – говорю я вслух.

И тут же думаю: «Ее нет».

В темноте, обхватив себя руками, я прощаюсь с Дот.

И представляю, как бы она сказала: «Ты все сделала правильно».

Вспоминаю произнесенные ею слова: «Я тебя никогда не винила».

Мне чудится, будто мы, крепко обнявшись, укачиваем друг друга. Мерно, словно шумит прибой, или бьется чье-то сердце, или мигает в темноте маяк.

Констанс

Ночью мне не спится. Утром в полудреме слышу шаги, скрип двери. Заходит Джон О'Фаррелл, сумрачный.

– Почему дверь не заперта?

Глаза будто песком запорошило; моргаю, пожимаю плечами. Не могу заставить себя на него взглянуть, но чувствую, как он вглядывается в мое лицо.

– Ночью никто не заходил?

Качаю головой.

– Ничего не слышала?

– Нет.

Он опускается на колени у моей постели.

– Нашли еще одно тело.

– Что? – Больше ни слова не могу вымолвить, дыхание перехватывает.

– Энгуса Маклауда утром вынесло на берег в Керкуолле.

– Как так вышло? – спрашиваю сдавленным голосом. Слышится ли в нем изумление? Меня вот-вот стошнит. Смотрю в пол, выложенный плиткой.

Джон со вздохом устраивается возле моих ног. Вглядывается в мое лицо, пытаюсь угадать, что у меня на душе.

– Похоже, – отвечает он, – в море упал. Но... при нем кое-что нашли. У него... не знаю, как тебе об этом сказать, Кон... в кулаке у него была зажата прядь волос Дот. А еще... под ногтями обнаружены частички кожи.

Втягиваю голову в плечи, чтобы скрыть царапины на шее.

– Что... – Я откашливаюсь. – Что подозревают?

– В общем, так, – говорит О'Фаррелл, – есть версия, что в ночь, когда разыгрался шторм, он силой увез на лодке Чезаре, а возможно, и Дот. Понимаю, ты почти ничего не помнишь, но как по-твоему, похоже это на правду? Он и впрямь что-то против них замышлял?

Я, сглотнув, киваю.

– Он всегда был жестокий, – шепчу я.

– Да уж. Негодяй, хоть о мертвых или хорошо, или ничего. Тело Чезаре пока не нашли, но вспомни, видела ли ты Чезаре после того, как перевернулась лодка?

Качаю головой, прикусываю изнутри щеку, сдерживая предательские слезы.

О'Фаррелл вздыхает.

– Кто-то из дружков Энгуса слух пустил, будто это Дот его убила или... что это ты, ведь смерть наступила позже, чем можно было предположить. – Он умолкает, всматривается мне в лицо. – Само собой, чтобы его убить, ты должна была бы выйти из часовни... Свидетелей нет – часовому нездоровилось, и я его той ночью снял с поста. Что ты можешь рассказать о прошлой ночи? Ты точно ничего не видела, не слышала?

Я раздумываю. Руки опять дрожат, под ногтями красно-бурая грязь; прячу ладони под себя, и О'Фаррелл это замечает.

Он видел незапертую дверь часовни. Может быть, видел и кровь вдоль барьера и на тропе, ведущей в часовню, – в темноте ее не так-то просто было замаскировать.

– Темно было и холодно, – отвечаю я. – Больше ничего не помню.

– Значит, не расскажешь, что с ним случилось? Не видела его после бури?

– Нет. – Наклоняю голову – вдруг он увидит проплешину там, где Энгус выдрал клоч волос, а заодно и багровые ссадины на шее?

О'Фаррелл коротко вздыхает. Жду обвинений. Собираюсь с духом.

Чуть помедлив, он наклоняется ко мне и с нежностью целует в лоб.

– Разумеется, ночью ты никуда из часовни не выходила, Кон. Когда я пришел, дверь была на замке. Так и скажу всем.

Шумно выдохнув, поднимаю на него взгляд. Он смотрит на меня с грустью и теплотой, гладит по щеке, ласково-ласково.

– Прислать сюда доктора? – шепчет он.

Я качаю головой.

– Он к тебе?..

– Нет.

Джон, кивнув, снова нежно целует меня в лоб.

– Надеюсь, сегодня в Керкуолле будешь ночевать в тепле. Могу тебя взять с собой.

Смотрю на него, хлопая глазами.

– Тело Энгуса Маклауда освобождает тебя от всякой вины, Кон. На тебя могут попытаться взвалить вину за исчезновение Чезаре или за то, что случилось с Дот, но ясно, кто на самом деле виновен.

Он берет меня за руку, и лицо его расплывается перед моими глазами.

– Пойдем со мной, – зовет он, и мы выходим из часовни на яркий солнечный свет.

Констанс

Похороны мы устраиваем спустя несколько дней. Могила ее на Шелки-Холме, неподалеку от хижины.

На похороны приходит почти весь Керкуолл, пешком по барьеру, – когда пленных отсюда увезли, линию обороны местные жители достроили сами: натаскали из карьера камней, а сверху залили все бетоном.

И вот они сгрудились чуть поодаль, поглядывают на меня, шушукаются.

Над островом синее небо – лазурное, безоблачное, совсем не подходящее для похорон, – и я под ним как под стеклянным колпаком; все взгляды устремлены на меня, а я словно на витрине, выставлена всем на обозрение. Знаю, пойдут разговоры про Дот и про Энгуса, про прядь волос у него в кулаке, про частички кожи под ногтями.

Я затягиваю потуже шарф.

Мне тошно, муторно, одиноко. Стараюсь ни с кем не встречаться взглядом. Смотрю вниз, на кустик дрока возле моих ног. Наверное, растет он здесь уже много лет. Треплет его ветер, сковывает мороз, заливают соленые морские волны, бьет град, а он растет себе, цветет. Ждет солнца и теплых дней.

На плечо ложится чья-то рука. Оборачиваюсь – Бесс Крой, заплаканная.

– Соболезную, – говорит она. И прижимает меня к себе.

Из ее объятий я перехожу напрямик в объятия Марджори Крой.

– Прости, дорогая, – говорит она. И, отстранившись, заглядывает мне в глаза. – Мы обходились с тобой дурно.

Она отступает, а следом подходит Нил Макленни, глаза у него блестят.

– Прости, – говорит он. И, легонько тронув меня за плечо, отходит в сторону, а за ним уже выстроилась целая очередь, и все просят прощения: Артур Флетт, Финли Андерсон, Мойра Бернс – даже Роберт Макрэй, прихвостень Энгуса, который всегда скалился, завидев меня.

– Я не знал, – бормочет он. – Ни за что бы не подумал, что он... Прости.

Сердце ноет, из горла рвутся рыдания. Снова и снова слышится: прости, прости, прости. И слово, повторенное множество раз, звучит как призыв, как молитва, как шелест крыльев птичьей стаи, улетающей в теплые края.

Все смотрят на меня, выжидая, и в душе закипает гнев. Конечно, им есть за что просить прощения, но с какой стати мне их прощать? С чего мне отпускать им грехи? Слишком легко им дается прощение, а на меня, напротив, ложится тяжким бременем – неподъемным грузом давят на меня эти слова: я вас прощаю. Не знаю, как их произнести.

Отворачиваюсь ненадолго, пытаюсь справиться с собой. Не знаю, что сказать этим людям, которые ждут от меня слишком многого.

На холме сверкает под солнцем часовня. Представляю, как льются в окно лучи. Представляю росписи на стенах, такие живые. А на потолке над алтарем взмывает в синее небо белая голубка.

Как могло из столь непроглядной тьмы родиться на свет нечто столь прекрасное?

Заливаясь слезами, я поворачиваюсь к тем, чьи взгляды устремлены на меня, и заставляю себя произнести: «Спасибо».

Потому что строить – тяжкий труд. Потому что строить – непростое решение. Потому что только надежда спасает нас от тьмы. Потому что люди из чужой страны открыли мне путь домой.

И я протягиваю руки землякам, и, встав вокруг могилы, мы читаем «Отче наш». Хоть я и не из набожных, но подхватываю за остальными:

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

– Прости, – шепчу я, глядя в открытую могилу.

По всей Европе гибнут люди – в небе, на море, от пуль и от взрывов. Каждый взрыв – чье-то имя. Каждая прерванная жизнь впечатана в чье-то сердце. Каждый раз смерть забирает больше чем одну жизнь. Она забирает воспоминания, надежду, веру. Но не любовь. Любовь пребывает вовеки.

Мне разрешили посмотреть на нее вчера, в керкуоллском морге. С трудом заставила я себя переступить порог холодной мертвецкой. Если увижу ее – значит, надежды нет. Если увижу ее – значит, все правда. У меня подогнулись колени. Я заставляла себя идти вперед, на подкашивающихся ногах, как ребенок, который делает первые шаги, – но если бы я училась ходить, то должна была бы на нее опереться.

Она лежала на холодном столе, укрытая простыней. Я медленно протянула руку.

Никогда в жизни я не поднимала ничего тяжелее этой простыни – она вобрала в себя тяжесть всех лет, прожитых вместе. Наши с ней общие улыбки, слезы, одни и те же сны, после которых мы просыпались, смеясь. Ее голос, звавший меня по имени.

Теперь ее голос умолк. Она лежит бездыханная.

Как может быть, что ее больше нет? Это невыносимо.

Я откинула простыню, и внутри зазияла рана.

Она лежала бледная, неподвижная. Казалось, она спит. Я поцеловала ее, и кожа была холодной как мрамор. Я целовала ее снова и снова, прижимала к себе, звала по имени.

Прости меня. Прости, прости.

Я осела на пол. Хотелось взвыть в голос, но из горла вырвался лишь немой крик. Точно так же была я в отчаянии, когда не вернулись наши родители, чувствовала себя такой же неприкаянной. Такое горе тяжело нести в одиночку, а столь полного одиночества я еще не знала.

А сейчас, на склоне холма, у края ее могилы, рядом со мной пол-Керкуолла: держат меня за руки, молятся вместе со мной.

И это ничего уже не значит, ее не вернешь.

И все же... и все же это значит очень много.

На гроб ей я кладу стебель одуванчика, последнее напоминание о лете. Меня всегда пленяла двойственность одуванчика: желтый цветок, а завянет – превратится в белоснежный шарик, и разлетятся по ветру семена. Новая жизнь, где-то в новом краю.

Сердцу больно биться.

Друг за другом подходят к гробу жители Керкуолла. Марджори Крой сыплет на крышку гроба соль, а ее дочь Бесс кладет кукурузный початок. Мистер Кэмерон бросает морской камешек, Джон О'Фаррелл – пригоршню торфа.

Дары земли и моря, чтобы она покоилась с миром. В старину мертвых туго пеленали в парусину, чтобы дух умершего не являлся к живым. Я все бы отдала, лишь бы она ко мне являлась.

Дождавшись, когда все отойдут от могилы, бросаю туда кое-что еще – одно, затем другое. Иззубренный кусок металла, с виду маленький, безобидный. Лишь чуть длиннее моего мизинца, зато острый – такой острый, что можно всерьез угрожать перерезать человеку горло. И он оставит тебя в покое, попятится, шарахнет от тебя в ужасе, даже если всю жизнь люди шарахались от него.

Мне эта железка больше ни к чему. Службу свою она сослужила, и я разжимаю ладонь. Кусок железа с глухим стуком падает в свежую могилу. Второе подношение падает бесшумно. Золотая цепочка, такая тоненькая, что даже не блеснет в темной яме.

Хотела ее бросить в море, но мне нужно точно знать, где она. Нужно предать ее земле.

– Больше тебе не надо его бояться, – шепчу я.

Закрываю глаза, снова открываю – могила на месте, никуда не делась, зияет свежей раной. Засыплут ее землей, зарастет она травой. А весной покроется цветами. И будет лето, потом зима. Солнце, и снег, и дождь. И кто-то еще умрет, а кто-то родится. Пройдет время, и забудут, кто она была. А история наша станет легендой – ее будут рассказывать у камина, как предания о людях-тюленях, о Матери моря или о той несчастной, что сто лет назад утопила своего возлюбленного, но вину свою так и не признала.

До правды нам не докопаться.

Бесс Крой легонько трогает меня за плечо:

– Приходи к нам на чай с пирогом. У нас, правда, дети шумят, зато тебе будем рады.

Из-за ее спины кивает Марджори Крой:

– Ждем тебя.

– Спасибо, – отвечаю я. – Но сначала... Хочу побывать на других островах. Там, куда мы ездили вместе. Я бы хотела... – Голос мой прерывается.

– Понимаю, – говорит Марджори. – Чтобы проститься.

– В керкуоллскую больницу придешь? Работать? – спрашивает Бесс.

– Пока нет, – отвечаю я. – Может быть, потом, а сейчас мне нужно побыть одной.

Бесс грустно смотрит на меня, с легкой обидой. Хотелось бы все ей объяснить, да нельзя, это значило бы все поставить на карту.

Подхожу к часовне одна. Солнце уже садится, закатный свет золотит стены. Перед входом скульптура работы Чезаре: святой Георгий убивает змея. Змей, говорил Чезаре, олицетворяет войну, а святой Георгий сражается с ним неустанно.

– И однажды, – говорил Чезаре, – наступит мир.

– Не может везде быть мир, – возразила я.

– Можно надеяться. – Чезаре обратил взгляд на часовню. – Надо надеяться.

Мне остается надеяться.

В руке у меня стальное сердце. В часовне прохлада. Постель мою уже унесли, и снова здесь покой и безмятежность. Ни следа крови Энгуса на кафельном полу, ни намека на то, что здесь произошло. Свет и красота, больше ничего.

Между створками узорной алтарной решетки в цементном полу есть ямка – след в форме сердца. Это я в ожидании приговора скребла цементный пол. Пальцы у меня стертые в кровь, а вдоль одной из граней сердца остались царапины.

Вкладываю в ямку стальное сердце. Оно почти той же формы, подходит, как ключ к замку.

Поднимаюсь, заставляю себя отойти в сторону. Не хочу его здесь бросать, но я должна от него отвернуться со спокойной душой.

Придется его здесь оставить, ведь оно не мое. Оно никогда не принадлежало Кон.

Стальное сердце подарили Дот, а Дот, как все знают, больше на свете нет. Дот, как известно, утонула в бурю. Дот лежит в могиле на склоне холма, и на гроб ей сыпали соль.

А я должна выдавать себя за Кон.

Вначале я была не в себе, ничего не помнила. Меня увидели в брюках и назвали Кон. В голове стоял такой туман, что я откликнулась на имя сестры. Я знала, что Дот жива, что она где-то здесь, но сама не понимала, откуда мне это известно. Воспоминания оживали постепенно.

Помню, как спрыгнула с лодки, оставив Чезаре, чтобы добраться до Кон. Но среди волн ее не было видно. Я подплыла к барьеру, откуда она только что сорвалась, и раз за разом ныряла, искала.

Высунусь из воды – и зову Кон.

Вдруг кто-то под водой схватил меня за ногу, чьи-то пальцы стиснули лодыжку. Вскрикнув, я снова ушла под воду.

Кон оказалась возле барьера. Радость омыла меня, я потянула ее за руку. Она подалась мне навстречу, но что-то мешало, не пускало ее. И тут я поняла, в чем дело: юбка зацепилась за камни.

Моя юбка. Та, что она надела, чтобы выдать себя за меня, дав мне возможность бежать с Чезаре. Я дернула изо всех сил, но ничего не

получилось.

Нет!

Я подплыла к ней вплотную, прижалась губами к ее губам, выдохнула ей в рот воздух. В груди жгло огнем; я вынырнула, снова нырнула, потянула за юбку, а она и рваться не рвалась, и отцепляться не отцеплялась.

Мысли вращались бешеным вихрем; я снова подплыла к ней вплотную, а волны подбрасывали нас.

Я собралась еще раз дохнуть ей в рот, но она мотнула головой. Оттолкнула меня, отвернулась, отвела от лица мои руки.

Нет! – пронеслось в голове. И снова я потянулась к ней, и опять она меня оттолкнула. А потом погладила по щеке, уперлась рукой мне в грудь.

Затем, вложив ладонь в мою, выпустила из легких весь воздух.

Нет, нет, нет! Я поняла, что она задумала. Поняла, что она все для себя решила, и уже чувствовала, как пролегает меж нами пропасть, как она от меня ускользает. Хотелось ее вернуть, поменяться с ней местами, все изменить.

Не надо!

Она сделала вдох, набрав в легкие воды.

В воде все казалось размытым, но я видела, будто сквозь дымку, ее лицо – секундную борьбу и ужас, – и наконец, прощаясь, она пожала мне руку.

И вот она затихла. И мир рассыпался в прах. Я высунулась из воды и взвыла. Крики уносил ветер. Волны молотили меня о камни, о барьер. Я ударилась головой о булыжник и чуть не ушла под воду, чуть не утонула. Но нет, надо было держаться. Я очутилась перед выбором. Я освободила тело сестры и вытащила из воды.

Не помню, как волокла ее в карьер. Мне мерещилось почему-то, будто мы там вдвоем, тащим Энгуса. И рады от него избавиться, и сознаем, что за смерть его придется заплатить, так или иначе.

Но я не хотела, чтобы на Кон отныне и вечно лежала печать. Пусть она докажет свою непричастность, пусть будет свободна. Пусть живет, не опасаясь ни тени Энгуса, ни сплетен, со спокойной совестью. Оставалось лишь придумать, как помочь ей жить дальше.

И когда за мной пришли, я заявила: «Это я. Она не виновата. Это я». И, скрыв, что я Дот, я назвалась Кон.

Не спеша возвращаюсь в хижину собрать осколки нашей общей жизни. Кур и овец я раздала знакомым из Керкуолла. Сказала, что скоро вернусь – может быть. С расспросами ко мне никто не приставал, все привыкли, что Кон себе на уме.

В хижине холод, угли в очаге подернулись пеплом. Может быть, однажды кто-то другой найдет здесь приют. Достая чемодан, с которым мы пришли сюда больше года назад, и складываю в него одежду: мои платья, брюки Кон. Пусть у меня останется что-нибудь на память о ней.

До сумерек еще далеко, но все уже вернулись в Керкуолл. Лагерь на склоне холма заброшен. Закрыв глаза, мысленно оживляю его. Представляю Джино, Марко, отца Оссини. И Чезаре, всегда Чезаре.

Здесьние течения всё относят на север.

Позади меня часовня – напоминание, что надежда есть всегда.

Открыв глаза, вдыхаю полной грудью. Небо, море, дрок; пахнет свежей древесиной и чистотой. От земли поднимается легкий пар. Впервые за долгое время я свободна.

Я свободна, и все же часть моей души навсегда осталась в пучине.

Надо мной кружит ворона, скорбно каркая. Вдалеке кричит сапсан: «Мое! Мое! Мое!»

Сердце разрывается. Годы, что предстоит прожить без нее, будут копиться, как мелкая монета – без счета, без числа. Все будет напоминать о ней. Без нее я буду жить вполсилы.

Груз скорби для меня невыносим, но нужно идти дальше, нужно дышать. Отныне придется жить за двоих.

Беру удочку, подхватываю чемодан, в нем кое-что из одежды и припасов. Идти недалеко. Если не найду его там, буду искать дальше. Буду искать столько, сколько понадобится.

Перед тем как пуститься к северу, на прощанье выхожу на барьер – наверняка не в последний раз, чутье подсказывает, что сюда я еще вернусь.

Теперь отсюда проложен путь до самого Керкуолла. Всякий, кто захочет попасть на остров, может прийти пешком через пролив. Теперь никто не отрезан от мира. Вот что, кроме всего прочего, дала нам война. Сплотила нас, так или иначе.

Смотрю на море – на горизонте то ли облака, то ли острова, но не все ли равно? Приходят на ум древние легенды о заблудших душах, об утонувших влюбленных.

Не знаю, где в них правда, где вымысел, да это и неважно, а важно лишь то, во что веришь. Думаю, мы сами выбираем, верить или нет.

Свесившись с барьера, окунаю пальцы в воду. Под водой проносится темная тень. В детстве мы верили, что в море водятся чудовища, – может быть, и впрямь водятся. Но и в других местах тоже обитают чудовища – разгуливают среди нас в людском обличье. И есть чудовища внутри нас – ни одной живой душе мы их не показываем, даже от самих себя прячем.

И наконец, есть то, что останется после нас, – надгробия и легенды. Зарытое в земле железо. Часовня на холме и история о том, как ее создавали.

Из-за облака выглядывает солнце, в воде возле барьера виден силуэт. Мое отражение, но я вижу в нем множество лиц: родителей, сестру, себя. Жизнь у меня одна, но прожить ее надо за всех нас.

В заливе темнеют тени погибших кораблей с далеких войн. Ошибки наши повсюду, призраки прошлого следуют за нами по пятам. Нам остается лишь смотреть на них со стороны, помнить о них.

Островитяне

Под конец войны об острове, что с недавних пор назван Часовенным, уже ходят легенды – говорят, на северной его оконечности живет шелки со своим возлюбленным. Будто бы она увлекла его с собой в море и научила плавать – случай невиданный. Иногда в ясные ночи, если идти по барьеру на остров, можно услышать плеск и смех. Заплутал однажды в северной части острова мальчонка и рассказывал, когда вернулся, что видел в море двух людей, они плавали, как тюлени, – мать отругала его за небылицы, а потом рассказала историю всем знакомым.

С недавних пор здесь завелся обычай: влюбленные пары, чтобы жить вместе долго и счастливо, должны пройти по барьеру рано утром, до восхода или сразу после, когда острова еще окутаны утренним туманом. Нужно пройти на север, мимо бывшего лагеря и итальянской

часовни, к дальней оконечности острова, и там оставить угощение. А потом уйти, взявшись за руки и не оглядываясь. Наутро подношение исчезнет – это знак, что влюбленных, проделавших этот путь, ждет счастье.

На обратном пути пары заходят в итальянскую часовню и преклоняют колени. Слушают, как море нашептывает им свои секреты, смотрят на своды часовни, любуются росписями. Притрагиваются к стальному сердцу, вделанному в пол, и преисполняются надежды.

Они каются в грехах, молят о прощении, клянутся исправиться. Дают обеты верности и преданности. Думают об ужасах, что творят люди и в войну, и в мирные времена, и обещают не отпускать тех, кого любят, ценить каждый миг жизни.

Выйдя на свет, они любуются солнцем и морем. И благодарят высшие силы, благодарят пленных, которым удалось даже ужасы войны переплавить в надежду.

Дороти

До северной оконечности острова я добираюсь за несколько часов. С каждым шагом мной овладевает беспокойство и мало-помалу перерастает в ужас. А вдруг его здесь нет? Вдруг его унесло в море? Вдруг разбитую лодку и истерзанное тело выбросило на зубчатые скалы?

Здесь всюду круглятся холмы, врезаются в море иззубренные утесы, а чуть в стороне – пресное озеро. Говорят, в нем живет гигантский змей. Люди сюда забредают нечасто. В детстве мы с Кон тайком убегали сюда вместе с другими ребятами – иногда с Энгусом Маклаудом, – но как-то раз один из мальчишек сорвался в трещину и разбил голову. Выжить-то он выжил, но стал на себя не похож, и с тех пор никто так далеко на север уже не забирался; по рассказам друзей того мальчишки, трещина появилась из ниоткуда, будто земля разверзлась у него под ногами.

Место это мало-помалу обросло легендами, и уже много лет никого эти места не видели – кроме нас с Чезаре.

Шагаю по тропе – ноги меня сами несут, помнят каждый шаг, ведь столько раз мы ходили этой тропой с Чезаре, держась за руки.

Представляю, что рядом со мной, в легком, уютном молчании, Кон, ее рука в моей руке или я обнимаю ее за плечи. Столько лет мы с ней ходили одними тропами, дышали одним воздухом. Как жить дальше без нее, не знаю.

Сердце мое из плоти – не расплавится, не треснет, не заржавеет. Знай себе стучит. Легкие дышат, кровь пульсирует, ноги несут меня вперед, в гору.

Кон. Кон. Кон.

Целой я себя не чувствую, но я и не сломлена, живу за нас двоих.

Мне ее не хватает, как не хватает дереву прошлогодней листвы.

Подхожу к холмику, по одну сторону от него тростники и болото, по другую – обрыв. Только если знаешь дорогу, можно пробраться к обрыву по кочкам. И даже тогда холмик не отличить от других, пока не сядешь на корточки.

Но между холмиком и скалой скрыт вход в пещеру. Тысячи лет назад здесь, возможно, было святилище – люди приходили сюда на рассвете поклоняться солнцу и морю, источникам жизни. А может, хоронили покойников и посещали это место раз в год, чтобы вспомнить о тех, кто был частью их жизни. Скорбь бывает сродни религиозному чувству.

Трава примята, чуть тянет дымком от костра... или мне это только мерещится?

В душе вспыхивает надежда.

Вползаю на четвереньках в пещеру. Бывало, мы с Кон ложились здесь и мечтали о том, что будем делать, когда покинем острова. Мы говорили о странах, где хотим побывать. До чего же ярким казался нам мир из темноты! Вдруг, если приложить ухо к камням, до меня долетят отголоски ее смеха? Вдруг камни до сих пор хранят ее тепло? Я провожу пальцами по гладкому камню и шепчу ее имя, словно молитву.

А потом чуть слышно произношу и его имя – не решаюсь позвать его громко.

Повсюду люди верят в невидимое.

Отзовись, безмолвно прошу, молю я. Отзовись, пожалуйста.

В самой пещере светлее, чем в узком проходе, ведущем в нее, и в первый миг мне кажется, что все здесь осталось таким, каким было, ничего не изменилось с тех пор, как мы приходили сюда несколько

недель назад. Голые стены, на полу ни соринки, сверху сквозь небольшое отверстие пробиваются слабые лучи солнца.

Сердце падает. Его здесь нет.

И тут вижу в глубине пещеры груды одеял.

Он лежит на рваной подстилке, натянув ветхие одеяла до подбородка. Глаза закрыты.

Во рту у меня пересыхает. А вдруг?..

Подхожу ближе и, выпрямившись во весь рост, приглядываюсь.

Он лежит не шелохнувшись.

Боже, думаю я. Нет, нет...

Грудь его вздымается и опускается, веки чуть подрагивают, будто и во сне он что-то ищет.

От облегчения меня пробирает озноб. Присев возле него на корточки, кладу руку ему на плечо. Он теплый. Настоящий. Живой.

Веки его трепещут, он открывает глаза, видит меня. Эти темные глаза почему-то меня узнали с самого начала, с первой нашей встречи.

Чезаре.

Вначале он лежит неподвижно. Скользит взглядом по моему лицу – синяков у меня прибавилось, на шее царапины. В полумраке меня видно лишь смутно. Вдруг он зол на меня за то, что я его бросила? Вдруг он не понял, что случилось, или он тоже ударился головой и забыл, кто я такая?

– Это сон? – шепчет он.

Я качаю головой, не в силах выговорить ни слова.

– Доротея, – произносит он.

– Да.

Глажу его по щеке, он касается пальцем моих губ.

– Доротея! – восклицает он и обнимает меня, стискивает изо всех сил, шепчет что-то снова и снова, уткнувшись мне в макушку. – *Grazie, grazie.* – Слова эхом отдаются в пещере, словно вздох ветра, словно молитва, на которую вдруг ответили.

Он целует меня горячими губами. Чувствую привкус соли на его коже, он весь пропах дымом от костра.

Он смеется, взяв мое лицо в ладони.

– Думал, ты никогда не придешь, – говорит он. – Думал, что потерял тебя.

Лицо его расплывается перед моими глазами, и я смаргиваю слезы.

– Быть такого не может.

– Меня ищут? Охрана?

Я отрицательно мотаю головой. В ту ненастную ночь, когда я бросилась в море, я видела, как лодку вынесло за барьер.

Теперь течение все сносит к северу.

– В пещеру! – крикнула я, прыгая с лодки. Ветер и волны заглушали мои слова, но все равно он мог слышать. Я надеялась, что услышит. Вопреки всему верила, что он отыщет туда дорогу.

Не знаю, верила ли я тогда всерьез, но, так или иначе, нам это удалось.

Любовь иногда делает невозможное.

Я прижимаюсь к нему, свернувшись клубочком. Он обвивает меня руками. И хоть я все еще не чувствую себя целой, но и на осколки уже не разваливаюсь.

Я успею еще рассказать ему о Кон, о том, как увидела на холодном столе ее бескровное тело и стала сама подобна пустой пещере, где бесконечно звенит во мраке эхо слов, мыслей, воспоминаний. Успею еще рассказать об Энгусе Макклауде.

А сейчас есть только его дыхание, голос, улыбка. Его тепло, что согревает меня во тьме.

Зиму мы проводим в пещере, строим планы. Вначале лишь на ближайшее время – что будем сегодня есть, идти ли на прогулку, стоит ли искупаться в ледяной воде.

Мы ловим рыбу и кроликов, собираем морскую капусту. Разговариваем, занимаемся любовью или молча сидим, вспоминаем.

Раны постепенно затягиваются, и мы начинаем думать о будущем – что будет после войны, когда мы разыщем в Италии его родных. Сейчас, пока Италия считается врагом, беглого военнопленного ждет смертный приговор. Но придет время, и мы сможем вместе отправиться на юг.

Бывает, ночами, когда Чезаре не спится, он ходит к бывшему лагерю, к часовне. Иногда хожу с ним и я. Лагерь постепенно ветшает. В ненастную погоду далеко в море слышно, как стонут от ветра железные бараки.

За колючей проволокой ни одной живой души, полное запустение. Но мы-то знаем, что еще недавно было все иначе. Залитая бетоном площадка может стать началом новой жизни, барак из листового железа – домом Божьим, или тюрьмой, или памятным местом.

Мы с Чезаре идем вдоль берега, держась за руки, слушая шум прибоя, дыша в унисон. Где-то под водой, в глухой тьме, покоятся остовы погибших кораблей – потопленный «Ройял Оук» и еще сотня других. Под ногами хрустят пустые раковины моллюсков, панцири крабов – сброшенные доспехи. Как видите, можно жить дальше, сменив оболочку.

Чезаре обнимает меня. Притягивает к себе и не отпускает, пока не уймутся мои слезы. Он ни о чем не спрашивает. Он целует меня в лоб, в щеки, в губы. Шутит, пытается меня рассмешить. Вкладывает мне в ладонь кусочек дерева, отшлифованный морем. И мы идем дальше.

Иногда перед сном мы слышим далекий гул самолетов, порой нам чудятся чьи-то шаги, голоса, словно прошлое настигло нас.

Но нет, это всего лишь плеск волн или стук наших сердец. Так звучит время – его не остановить, и оно драгоценно, каждый миг на вес золота.

Мы лежим рядом, держась за руки, прислушиваемся к плеску волн, к звукам мира. Скоро мы покинем эти места. Спустим на воду лодку и двинемся на север, на остров Фэр-Айл, или на юг в Абердин, или еще дальше на юг – в Моэну. Будем искать места, связанные с нашим прошлым, с родителями. И неважно, как на нас будут смотреть, что будут о нас говорить, какие рассказывать истории. Нас объединяет правда, известная лишь нам двоим, язык, лишь нам двоим понятный.

Если мы вместе, то всюду для нас дом.

Послесловие автора

На Лэм-Холме, одном из Оркнейских островов, на самом деле стоит итальянская часовня, построенная пленными итальянцами в годы Второй мировой. Этот подлинный (и прекрасный!) памятник архитектуры вдохновлял меня при работе над книгой, однако почти все в ней, в том числе сюжет и герои, – плод моей фантазии. Оркнейцы (а многие из них, не жалея времени, помогли мне бесценными советами) сразу заметят, что в романе изменены датировка некоторых событий и география островов. Это было сознательное решение: я на собственном горьком опыте убедилась, насколько трудно повествовать в художественной форме о реальных событиях, тем более о реальных людях, и выдавать написанное за чистую монету, и потому ни в коем случае не хотела за это браться.

Я хотела написать книгу о войне, искусстве и памяти. На свете немало памятников погибшим, легендарных полей сражений и мест, измененных войной до неузнаваемости. Но итальянская часовня, на мой взгляд, дело совсем иное: это символ надежды, созданный в беспросветное военное время. Ее строили пленные, на чужбине, не зная, когда вернутся домой. В нее вложили надежду и любовь. Часовня и сейчас стоит на своем месте, содержат ее в образцовом порядке – всем советую посетить.

Существует на самом деле и стальное сердце – выковал его итальянский кузнец Палумби в знак любви к местной женщине. В Италии его ждали жена и дети, и сердце он оставил в Оркни. Все это нашло отражение в истории Чезаре, однако сам Чезаре – собирательный образ, ни один из пленных не был его прототипом, и судьба его в романе разительно отличается от судеб пленных итальянцев, вернувшихся к родным.

Собирая материалы для этой книги, я узнала историю одного человека, которому в тягость было работать у отца в фирме, и однажды он просто-напросто не пришел на службу, а нашли его уже в Нью-Йорке – он забыл, кто он такой и как сюда попал. Это побудило меня изучить подробнее, что такое диссоциативная фуга – расстройство, когда после травмы или душевного потрясения человек забывает свое

прошлое и зачастую уходит из дома, придумав себе новую личность. С давних пор подобные случаи привлекали внимание психологов, они не имеют ничего общего с попытками симулировать потерю памяти, когда человек стремится избежать ответственности за преступление. Вероятно, и то и другое – способы психики справиться с травмой. Все-таки удивительно, как мы реагируем на трудности и как искусно наш мозг прячет знания и воспоминания. И чем дальше, тем лучше это получается: проторенной дорогой идти легче. Точно так же выпадают у меня из памяти целые куски детства, связанные с тяжелыми переживаниями, и даже сейчас после ссоры мне трудно вспомнить, кто что говорил.

Как многие писатели, я замечаю, что герои раскрываются передо мной постепенно – от черновика к черновику. Мало-помалу мне становятся понятны их ценности, устремления, мотивы поступков, и каждый персонаж обретает собственный голос. В этом романе все иначе: герои «заговорили» почти сразу, их цели, симпатии и антипатии выявились очень рано. Однако со временем обнаружилось, что почти все они что-то скрывают, даже от меня. Странно, спору нет, зато работа над романом была полна сюрпризов, когда то и дело всплывали одни и те же темы: тайна и ее раскрытие, двойники, отражения. В изначальный замысел это не входило, но, перечитав первый черновик (по иронии судьбы я почти не помнила, как его писала), я с радостью отметила, что в истории каждого персонажа перекликаются схожие мотивы. Они усложнили и обогатили изначальный замысел – написать о людях, создающих шедевры, когда кругом все рушится. Волей-неволей я задумалась о том, всегда ли мы признаем (и понимаем), что нами движет.

Я хотела написать о том, как война, душевные потрясения и близость смерти влияют на людей: если человек выброшен из привычного мира, то рвется ткань жизни вокруг него. Я много размышляла о том, как гибель человека во время войны оставляет пустоту, особенно если тело не найдено, – человек просто-напросто «исчезает». Бабушкин брат погиб в Эль-Аламейне, его тело на родину так и не доставили. Я знаю, что его сестры (бабушка и ее сестра) и вдова рвались на его могилу в надежде исцелить рану, которую оставило его исчезновение. Но, после того как они побывали на

могиле, им стало еще тяжелее. Надпись на его деревянном кресте гласит: «Здесь обрываются все пути и нет дорожных знаков».

В определенном смысле он продолжал жить – он ведь не умер, а просто исчез. Думаю, они всю жизнь надеялись на его возвращение.

И опять же, вспоминается итальянская часовня, линия обороны, построенная на Оркнейских островах в годы Второй мировой, и то, как необратимо меняются места и люди во время войны.

Оркнейцам, бережно хранящим памятник истории, и итальянским военнопленным, построившим барьеры и часовню, я говорю спасибо.

notes

Примечания

1

Ладинский язык – один из языков ретороманской подгруппы романской группы. На ладинском говорят около 30 000 человек на севере Италии в районе Доломитовых Альп. – *Здесь и далее примеч. перев.*

2

Остановитесь (*ит.*).

3

Мне очень жаль, прости (*ит.*).

4

Боже мой (*ит.*).

Дружище (*ит.*).

6

Да (*ит.*).

7

Мой дорогой (*ит.*).

8

Я хорошо говорю по-английски (*ит.*).

9

Бред (*ит.*).

10

Ультрамарин (*ит.*).

Магнус Оркнейский, Магнус Эрлендссон (1075–1115, 1116 или 1117) – святой римско-католической церкви, соправитель Оркни. Похоронен в кафедральном соборе Керкуолла.

Белтейн – кельтский праздник начала лета, традиционно отмечается 1 мая.

Красавица (*ит.*).

Я тебя люблю (*ит.*).

Скотина, мерзавец (*ит.*).

Перевод Б. Пастернака.